

Александр Лысков

Красный Закат в конце июня



Народный роман

Александр Лысков

Красный закат в конце июня

Издательский дом «Сказочная дорога»

2018

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Лысков А. П.

Красный закат в конце июня / А. П. Лысков — Издательский дом «Сказочная дорога», 2018 — (Народный роман)

ISBN 978-5-4329-0144-6

Времена Колумба... На территории России в те же годы происходит интенсивное открытие своих «Америк». Славяне из перенаселённых земель Новгородчины отправляются в плавание по большим и малым рекам на северо-восток... В романе «Красный закат в конце июня» впервые в русской литературе концептуально описана не столько история Государства Российского и его политических звёзд, сколько история повседневной жизни людей 14 поколений одного поселения Русского Севера по мужской и женской линиям – его космическая история. (Число 14 из следующего ряда: «Итак всех родов... от Давида и до переселения в Вавилон четырнадцать родов...» (Мф. 1:17). «Красный закат...» – в какой-то мере библейская история свободных, сильных наших предков, начиная с появления их на землях угро-финнов в 1471 году и заканчивая исчезновением, переходом в иное качество в прошлом веке, в нас самих, сегодняшних. Неслучайно своеобразным продолжением «Красного заката...» явился и следующий роман Александра Лыскова – «Медленный фокстрот в сельском клубе» (2016) – о жизни современных потомков рода Синцовых.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4329-0144-6

© Лысков А. П., 2018

© Издательский дом «Сказочная
дорога», 2018

Содержание

Часть I	7
Часть II	58
Часть III	76
Часть IV	98
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Александр Павлович Лысков

Красный закат в конце июня

Народный роман

© Лысков А. П., 2018

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2018

Солнце красно к вечеру – мужику бояться нечего.
Хорошая примета

Конец июня – самые светлые дни в году.
Результат наблюдений

Часть I Явь

Иван (Синец) (1451–1491)

Укоренение на новом месте

1

Начало лета.

Время чистой воды.

Пуя¹ клокочет перекатами.

Береговые деревья по низу окрашены илом недавнего половодья словно по бечёвке – до первого дождя. А в воде муть уже улеглась на дно, лоснится промытыми беличьими шкурками.

Рвут, терзают шестами эту донную красу двое: Синец (у церковников – кличка Нечистого) упирается то слева, то справа для поправки хода.

Молодая беременная Евфимья, или попросту Фимка, дуриком ломит сзади.

На босых простоволосых водоходцах тканые льняные обноски.

Под их ногами пять заострённых брёвен, нанизанных на поперечные клинья.

Топор воткнут в середину плавня. К нему приторочен мешок с ржаными зёрнами и свёрток шкур со скарбом.

Из осоки изредка высовывается морда собаки: то полакает, то лишь понюхает – и дальше мышковать.

Увязалась за Фимкой после зимнего прикорма.

Думается, дня три, не меньше, понадобилось им, чтобы протолкнуться досюда, войдя в устье Пуи с Ваги², по отмелям которой можно было и бечевой тащиться.

В Пуе же, как в лесистом канале, – только упорным шестованием.

¹ Мягкая. – Здесь и далее примечания автора.

² Жёлтая.



Сшит был плот ещё по снегу.

Снялись с первым теплом, отзимовав у добрых людей в Заволочье за пяток резан из приданого молодухи.

А сами они были новгородские. Тогда поголовно бежали ильменские славяне от многолюдья в поисках своего места на земле, на Север, как рыбы на нерест – метать зёрна в тысячетлетние наслоения непаханных земель.

2

Река словно заканчивалась, упираясь в высокую глиняную стену.

Вблизи оказалось – бьёт в кручу, вытекая из-за поворота в обратном направлении и совсем другая с виду: извилистая, каменистая, с отлогими берегами.

Синец направил плот в омут под обрывом, отдохнуть.

Неожиданно за шест словно водяной ухватил.

Рычагом Синец поднял со дна сеть и шуку в ней. Переломил рыбине хребет и выпростал добычу.

Берестяные полавки утянулись обратно в глубину каменными грузилами.

Приткнули плот к берегу. На песчаном мыске утоптали лопухи.

Синец ударил кресалом по кремню. Искры брызнули на растёртый мох. Оставалось раздувать огонь.

А Фимке – чистить рыбину и потрошить.

– Крапивна сеть³. Знамо, угра, – сказал Синец.

В лесу взвизгнула собака, долго скулила.

Послушали и решили, что на барсука напоролась, а то и на вепря.

Нажгли углей достаточно.

Через пасть рыбы насквозь до хвоста пропустили острый прут. Переворачивали на жаровне, пока в жабрах не перестало пузыриться.

Ели и удивлялись, отчего собака не чует запаха, не бежит требуху жрать.

А их пегая сука в это время уже висела с распоротым брюхом на ветке берёзы, подвязанная за заднюю лапу.

Кошут⁴ кромсал её ржавым ножом, вываливая тушку из шкуры.

3

Голоса плотогонов Кошут давно услышал.

Пошёл на эти голоса и с высоты глинистой кручи, конечно же, не мог не заметить людей на плоту, сам оставаясь невидимым.

Проследил, как они опоражнивали ставень⁵.

Атакованный собакой, не промедлил убить, вовсе не из страха, но лишь по привычке, всё равно как лисицу. Тем более что не заведено было в его народе, да в изобилии зверя, держать собак в помощниках. А кто заводил, у того их волки зимой выманивали и задирали.

Рубище Кошута из мочалы с прорезью для головы было забрызгано свежей кровью.

Лук, связанный из трёх можжевельновых хлыстов, валялся в траве.

Из колчана торчала окровавленная стрела с кремнёвым наконечником. Кошут приторочил собачью тушку к поясу, закинул лук за спину и пошагал к стойбищу.

³ Из длинных и прочных волокон крапивы изготавливали пряжу для ткани, идущей на пошив одежды, парусов и мешков. Из неё ткали ковры, вили верёвки и канаты, плели рыболовные сети.

⁴ Шапка, Шапкин.

⁵ Сети.

4

Кошуту от кручи до стойбища напрямик. А чужакам вверх по течению ещё через три колена да один перекат, толкаться и толкаться.

Им не ведомо куда, а Кошут давно дома.

В сумраке летней ночи с высоты своих владений Кошут видит, как в пелене тумана на заречной луке возникает просвет и начинает расползаться. В центре проталины сверкает огонёк – это пришельцы устраиваются на ночёвку.

Их появление взбудоражило семейство угорца.

Нагие дети то и дело снуют из землянки и обратно, докладывают о переменах возле далёкого костра.

– Суг!⁶ – приказывает Кошут.

Огонь за рекой то гаснет, то разгорается столбом.

То свет затеняет чья-то спина, то вдруг огромная тень кидается через край туманной завесы до самых звёзд...

Пора творить оберег.

Кошут надел праздничный сарафан жены, обвешался лисьими хвостами и вымазал лицо сажей.

В таком виде угорцы призывали на помощь своих богов.

– Хорд калиха!⁷ – крикнул он жене.

Она вынесла обмазанную глиной корзину с раскалёнными углями. Кошут подхватил жаровню, тушку собаки и отправился на задки стойбища в ельник.

Камланье у угорцев начиналось с того, что они первым делом на капище у пирамиды из булыжников раздували огонь, зажигали молодую ёлку, бросали в огонь тушку и несколько раз произносили:

– Вэд энгем тол масе⁸.

Они верили, что лесной дух Истен-Мед вместе с дымом перенесёт образ молящегося – с сажей на лице, в нелепой одежде, с лисьими хвостами – напрямик в души неведомых пришельцев, напугает их, вынудит уйти.

– Вэд-д-д!..

Затем распоясывались. Один конец ремня закапывали в землю. Другой брали в рот и принимались сосать (кровь пить из тел недругов).

...Ночь расслоилась: в лесу ещё держался мрак, а над деревьями уже просвечивало.

Из землянки доносился звонкий, здоровый кашель детей. Это мать выкуривала гнуса из жилища дымом прелых листьев.

– Суг! Халк! – опять прикрикнул Кошут на семейство.

Когда легли, Тутта спросила Кошута, пойдёт ли он завтра смотреть сеть: ждать ей улова или разгребать яму со льдом, где заложена солонина.

Надо починать запасы, – распорядился Кошут.

Сеть вытрясли идеген⁹.

⁶ Тихо!

⁷ Подай жаровню.

⁸ Защити нас от чужого.

⁹ Чужаки (угр.).

5

В это время идеген корчились от холода под шкурами, сверху влажными от росы.

Фимка никла к спине мужа, а он топор обнимал.

– Вёдро будет. Жечь начнём, – сказал он.

– Дальше, значит, не поплывём?

– Не водой несёт.

– Слава Богу.

– Спаси и сохрани.

Долго ли поспишь на холодной земле? Не успели глаз сомкнуть, а уж солнце над лесом.

Вскочили на ноги разом, каждый по-своему озадаченный предстоящим днём.

Налегке, с кресалом и трутом в берестяной коробочке, с топором в руке Синец ринулся в лес. А Фимке что оставалось? Бежать вдоль опушки, рвать щавель в подол, завтракая попутно снытью.

Кипятила баба похлёбку, подкладывала сухие ветки под широкие боковины горшка.

Синец же в глубине леса топором задирает кору на соснах лентами, наподобие юбки. Поджигал, и огонь кольцами взмывал вверх по сухой смоляной чешуе.

Перебежками, от одной сосны-смертницы к другой выстраивал стену огня. Трещало по верхам. В огне истаявали кроны. Попутным ветерком пламя уносилось к реке. Теперь уже ему обратного ходу не было. Вали широким захватом меж двух берегов в водяную удавку.

И поджигателя гони в безопасность на песчаную косу.

Жаром угаасающего пожарища наносило до ночи. Закоптило лица и одежду – без дресвы не смыть. Или хотя бы илом.

...Из кустов, от невыносимой жары, начали выскакивать зайцы. И баба, ничуть не тяготясь беременностью, принялась загонять ошалелых косых к воде, а Синец дубинкой бил и приговаривал:

– Сами в горшок скачут.

Наелись зайчатиной вдоволь. Шкурки замочили в реке под корягами. Уснули в угарном тепле, вольно раскидавшись: и комаров, хоть на одну ночь, но тоже повывел бойкий новгородец на отвоёванной земле...

6

От соплеменников слышал, конечно, Кошут, что «злован», «ороз»¹⁰ жгут угорские леса, но видел впервые.

Леса на Севере влажные. Молния разве что пропорет кору на стволе сверху до низу, дерево будто только шубу распахнёт для охлаждения. Дождём тотчас зальёт, заживит рану, лишь парок ещё некоторое время будет сочиться. От роду не горючие здесь леса. И в самую сушь надо специально умело подпускать огня для пала. (Даже сейчас, в обилии спичек и зажигалок ни одной сколько-нибудь значительной огневой потравы не сыскать на сотни километров леса).

А тогда вообще лесной пожар здесь, в болотах, ручьях, реках, озерах, был в диковинку. Зрелище невиданное. Потому на эту огненную кипень, должно, жутко было глядеть угорскому семейству со своей высоты.

Ощущать на лицах жар гигантского огнища, чувствовать себя жертвой, принесённой чужим богам.

¹⁰ Злован, ороз – славянин, русский (*угр.*)

– Хоз некую иде. Ен фельмаж кют аз¹¹.

Тайный лаз, обязательный для любого угорского жилища, Кошут с Туттой начали про-
рывать из угла землянки сразу, как обжились здесь. Копали не один год, не одну плитку сланца
истерли. Хотя невелик труд – песок. Только сгребай в кожаную торбу и оттаскивай. Дело заты-
гивалось оттого, что приходилось одновременно с выемкой оплетать лаз, прокладывая под
землёй кишку из виц тальника, словно гигантскую сеть.

Пробились до склона ближайшего оврага.

Выход замаскировали.

Со временем песок просочился сверху сквозь переплетения. В ином месте лаз засыпало
наглухо.

Кошут спешно расчищал ход...

7

Шло время.

Как-то ночью сидит Кошут на сосне в засаде – слышит хруст. Мелькнула тень в лунном
свете. Пику сжал в руке, изготовил для боя. Ожидал появления клыкастого, а под ним – Синец
с топором и рогатиной.

Оголодали с Фимкой.

Когда ещё ржаной колос налётся.

Убоина требовалась на пропитание.

Забрёл в лес.

Стоит, прислушивается.

Темечко лоснится при луне.

Тут бы и покончить Кошуту с вором и поджигателем. Туда бы, в темечко, пику одним
легким движением – ходом до сердца. А бабу его, сонную, трофейным топором. И опять живи
полновластным хозяином родовых угодий.

¹¹ Вот и до нас дошли. Я полез ход чистить.



Почему не убил? Ни палача над ним, ни судьи, ни полиции...
Не подстерёг за кустом.
Не приколот копьём спящего...

Любой бродячий пёс в городе насмерть бьётся за территорию с себе подобными. Лесной зверь метит владения и без раздумий бросается на преступника.

Законы леса, тайги должны бы оправдать Кошута. Более того, законы эти требовали решительных действий.

Чтобы жить, ему необходимо было убивать. Иначе он обрекал на смерть себя...

Не убил, потому что его самого люди никогда не пытались убить, не угрожали смертью.

Обширность жизненного пространства сообщала угорцам миролюбие. Случались среди них только неумышленные убийства. И самое большое наказание было за это – высылка в леса, отторжение, запрет на общение.

Угорцы были природными истинными анархистами: никакой власти над собой не терпели, каждый сам за себя.

Мага-эги¹².

Войн не вели. Не с кем. А от междоусобных конфликтов, повторяю, дальше в лес – и дело с концом.

Не осталось после них богатырского эпоса. Только сказания, бытовые и любовные.

До чего же прекраснодушный народ вырисовывается! Засомневаешься, от Адама ли пошёл.

8

Нет, Каинова печать лежала и на Кошуте. И он со своими богами держал совет: убивать или не убивать пришельца.

Как это у них делалось?

На капище при дневном свете угорец втыкал в каменную пирамидку пучок прутьев. Где-то внутри был самый короткий.

Ждал ночи, чтобы в полной темноте наощупь да с закрытыми глазами вытащить из пучка один прут.

Если попадался обломок, – замысел считался одобренным свыше. Если длинный – запрет.

Синцу, видимо, ещё и повезло.

В пользу природного миролюбия Кошута говорит и то, что со стороны славян непугаными угорцы долго оставались на берегах этих малых северных рек.

Новгородским ушкуйникам, ватагам воров-мужиков, казакам такие дебри были по боку – прямой дорогой к морю на стругах вниз по течению Северной Двины¹³ стремились они, грабя побережные селения.

Если и был смысл пробираться в глубь угорских земель, то на долгое, постоянное жительство, семьей, тихо-мирно, как Синец, который тоже ведь не ахти какой и разбой сотворил на чужой земле – дальше тряски сети и выжигания чищанины не сподобился.

В его положении воевать было себе дороже. Землянка Кошута – крепость. Одному осаду не одолеть. К тому же нюхом и слухом угорца всё кругом пронизано. Преимущество в знании местности многократное.

Но главное – не за чужим добром сюда толкались на плоту Синец с Фимкой.

¹² Сам-один.

¹³ Дывын (угр.) – тихая.

9

...Сошлись они где-то в лесу.

Остановились в отдалении друг от друга.

Синец у себя на Новгородчине немцев видывал. Немоуту их пробивал усилением голоса, как глухоту. И Кошут был для него немко.

Пришелец бил себе в грудь и вопил:

– Во крещении Иван. Кличут Синец. А тебя как?

Местнику тоже не в диковинку был человек иной породы.

На торгах в устье Пуи он видывал голосистых славян, слышал их речь. И даже отхлёбывал из оловины их хлебное вино, сваренное на солоде с хмелем, несравненно более крепкое, чем угорский «бор» из малины и мёда, выбродивший в горшке на протяжении двух лун.

Потому Кошут вовсе и не остоленел при встрече с Синцом. Чай, не зверь лесной, чтобы дичиться.

По жестам понял Кошут, о чём говорит ороз.

Без особой охоты, но своё имя назвал.

А вот до рукопожатия дело не дошло.

Показались один другому – и каждый в свою сторону.

На время потерялись из виду.

Но забыть друг дружку уже не смогли.

Стали жить с оглядкой...

10

Поспела брусника.

Настоящая ягода, не в пример малине¹⁴ или смородине¹⁵. До следующего лета не скисала, сама себя сохраняла.

Ею заполнялись ямки, обложенные корой. Ни червь её, замороженную, не точил, ни муравей.

Изо дня в день Тутта с детьми ползала в окрестных мшаниках, похожая на медведицу с тремя медвежатами-погодками. От комаров, от гнуса все обмотаны тряпьем, дерюгами, шкурами.

Мягкая перина под коленями источала болотный усыпляющий дух, укачивала.

Младший перестал двигаться.

– Кинек! Элалжи! Фог боцьё!¹⁶

На шее у Тутты болталась кожаная торба. Дети горстями ссыпали туда свой сбор.

Мальчик встал на коленки, моргал сонно.

Детские лица одинаковы во все времена, начиная с неандертальских. Щенячье, ангельское в них неизменно.

Мальчик сел на пятки и головку свесил на грудь. Опять уснул. Работа для него была непосильна.

Старший ревниво растолкал малыша, принудил к собиранию доли зимних запасов.

Одной матери известно, когда возвращаться домой, под крышу, к огню и еде. У матери любовь к детям беспощадная.

¹⁴ Мална.

¹⁵ Рибиз.

¹⁶ Сынок, проснись. Собирай ягоды.

Роды чуть не каждый год, счёт потерян. А в живых только трое. И оплакивать нет ни сил, ни смысла.

У всякого в лесах больше шансов погибнуть, чем выжить. Для человеческих детей – тем более.

Но всё-таки получалось как-то так, что и лисьему роду не было переводу, и заячьему, и утиному.

Так же и род людской живуч.

– Фог бочьё!

За брусничной страдой последовала клюквенная.

Все болота в округе будут выползаны, всё до ягодки будет ссыпано в берестяные закрома.

11

Болотная ягода созрела – значит, и уткам сбиваться в стаи.

На берегу старицы давно у Кошута выставлен был шалаш. С ночи залегал он в нём на шкурах. Хорошо просматривалась сквозь ветки чёрная стоячая вода.

На уток стрелы были наготовлены лёгкие, без кремнёвых жалящих язычков, а лишь закалённые в огне, закопчённые, – выложены рядом по одну руку. Лук – по другую. Оставалось ждать, когда кряква приблизится к шалашу стрел на десять.

...Новая стая перелётных из-за леса пала на озеро, при посадке красными лапами пробороздила, вспенила стоячую воду прямо перед Кошутым, слишком близко – пошевелись и спугнёшь.

Он выждал, когда новоприбывшие, запалённые перелётом и потому менее осторожные, хотя бы немного отплывут.

Выцелил крайнего селезня под его воронёные перья на спине и спустил тетиву. Словно нанизал. Птица была одним крылом, в одиночестве недолго кружила по воде, затихла.

Подождал, пока ветерком приплавит добычу к прибрежной осоке. Еловой мутовкой, привязанной к длинному шесту, забагрил тушку и выволок на берег. Окровавленную стрелу сполоснул в озере: ещё раз, после закалки, сгодится в дело.

Подстилку из шалаша, чтобы не отсырела, кинул на ветку ивы – до следующей зари.

Вот так каждый день в целую луну по времени, пока озеро не застынет, ложиться ему здесь в засаду...

12

Всё лето Синец мельницу устраивал. Бродил по речным перекатам, нащупывал ногами валуны.

Нашёл пару плоских известняков. Кремнёвым долотом стесал их, чтобы жернова получились как две шляпки грибов, сложенных нижними сторонами.

Труднее всего было просверлить в камнях отверстие для оси.

Под сверло приспособил Синец трубчатую кабанью кость. В привод для сверлильного станка превратился лук с ослабленной тетивой, петлёй охватывающей сверло. Речной песок подсыпался под инструмент для быстреего истирания известняка.

Каждый вечер дотемна Синец сидел у входа в землянку с камнем между ног и смыкал. В родных новгородских землях слышал, как скоморохи горланят, играя на казане (в широкой кринке сухая отщепина и по ней – смычком).

Уподобился.

Ой, чьё-то поле

Задремало стоя?
Синцово поле
Задремало стоя.
Как же не дремати,
Когда пора жати...

В ответ Фимка подала голос из землянки:

Сидит Ванька у ворот,
Горло песнею дерёт.
И народ не разберёт,
Где ворота, а где рот.

Здоровый молодой хохот отражался от леса эхом туда-сюда.

Ширк-шорк – отбивал такт лучкобур под рукой Синца.

Ширк-шорк.

По реке далеко слышать. Может, и до угорцев доносило. Жаль, не понимали языка, а то бы вместе со славянами повеселились.

Солёные шутки были угорцам по нраву.

Их выжившие сородичи финны и теперь ещё слынут непревзойденными похабниками Европы.

13

Под будущую выпечку требовалось печь сложить.

Глину Синец выкапывал в противоположном крутом берегу и переправлял на плотике. Месил лопатой в яме.

Чавкала глина. Плюхалась в остов будущей печи с жирным смаком. Подсушивалась слабым огоньком...

Стенки печи Синец вылепил наклонные и свёл в единый хребет.

Дымовую трубу мог бы сложить из плоского галечника, но передумал. Половина тепла будет теряться.

Для начала решили зимовать по-чёрному.

14

Первые пучки ржи в колоннаде сожжённого леса они с Фимкой нарвали руками. Сушили в домашнем тепле.

Зёрна из колосьев выколачивали комлями длинных виц.

Набралось несколько горстей.

Вышли на ветерок. С ладоней принялись пускать струйки зерна на дерюгу. Лёгкий мусор и пыль уносились в сторону. Зерно с каждым веянием становилось желтее, золотистее и звонче.

Встали на колени перед жерновами. Синец крутил. Фимка через берестяную воронку сыпала в прижим трущихся камней.

Мука сочилась из-под верхнего камня будто из-под пресса, текла на чистую тряпицу. Этой первой мукой Фимка наполнила кулёк из бересты, залила водой и заложила в печурку – на закваску.

15

А серп Синец соорудил из кривого можжевельного корня. Остриём топора распорол ему «брюхо» – надрезал по внутренней дуге.

Пластинки кремня чередой намертво зажались в надрезе...

16

С серпом в руке Синец остановился на краю поля.

Молодой ярый ржаной разлив впервые лицезрел он в мёртвом чёрном бору. На Новгородчине уже никто не палил. Оставшиеся леса были прибраны к рукам. Там ржи стояли под солнцем голые. А тут в поле будто сваи набиты для возведения невиданной кровли.

От обугленных стволов веяло недобрым.

Скорее бы убрать урожай, а потом свалить деревья и пережечь в золу для удобрения на следующий год.

17

...Синец спиливал ржаные стебли под корень. Набирал охапку, сваливал на сторону.

Сзади него на широко расставленных ногах внаклонку двигалась Фимка, связывала жнивье в снопы, из пяти выстраивала на поле бабку (суслон), чтобы зерно выстоялось...

Назавтра уже одна она горбатилась, ибо Синцу до вызревания снопов надо было успеть выкопать траншею в человеческий рост, укрыть её решёткой из веток и под ней развести огонь.

Нажечь углей для первой посадки жнивья в этот примитивный овин...

На решётку валили снопы.

В горячем воздухе снизу зерно подсушивалось до хруста.

18

Без хлеба не сытно, без соли не вкусно!..

И тогда ещё один огонь развёл Синец в тёмном еловом бору на болотце. Там высмотрел он родничок. Мох вокруг был обмётан белой пылью. Вода на вкус оказалась солоноватой.

Этой водой Синец поливал горячие, вывороченные из огня камни и соскребал с них налёт.

За день варница давала щепоть соли.

19

...Под хлебный замес не было у бабы ни горшка, ни противня.

Кусок чисто выстиранного вретища (частой ткани) разостлала Фимка на земле и приколола по углам колышками.

Насыпала горку муки, полила водой. Принялась мять тесто, тыкать кулаками, вздывать и с силой обрушивать на землю.

Закваска жила в берестяном кульке. Пузыри с ногой величиной набухали и лопались. Лезли через край. Не успеешь пустить в дело – скиснет. Пропадёт. Начинай всё сначала.

Фимка влила закваску в тесто и опять давай месить, теперь даже коленкой помогая.

По материнскому наущению, по мягкости, по запаху, по цвету, на вкус и по наитию определила – готово.

Выдернула колышки из углов подстилки, завернула тесто в тряпицу и уложила в тёплый угол за печку – выхаживаться.

Любая баба частью души всегда в детстве и в радости. Вот и Фимка кусочек теста круто посолила. Слепила оберег. Сунула в печь для закалки.

...Потом она его малиновым и черничным соком раскрасит. Волосы-соломинки прилепит.

Живущему в утробе дитяте – игрушка.

20

Осталось время Фимке, чтобы нарвать лопухов, и с плота, не замочив ног, промыть листья в реке, разложить на брёвнах для просушки.

В беготне, в работе, как птица по весне, на ногах с утра до ночи из месяца в месяц, в такой вот короткой передышке на плоту успевала всё-таки Фимка окинуть взором небеса. Облака – высотные, кружевные, недвижные. И – комковатые, словно бы из трубы и вширь разлетающиеся.

Разгибала спину, оперевшись в поясницу, как это делали, делают и будут делать все брюхатые бабы всех времён и народов.

С заколкой в зубах закинутой назад головой растрясала по спине волосы, заплетала. Искоса рассматривала воду, зацветшую в заводи и уже по-осеннему прозрачную на быстрине.

Мальки стайкой метались у плота, где всё лето мыла Фимка горшок, прикармливала. Мелькали тени крупных рыб в глубине...

И вдруг схватила за живот, присела со стоном. Ещё боль не отпустила, а она уже торопливым шагом – к печи. Тут, несмотря на рези под сердцем, необходимо было ей скрючиться в три погибели, чтобы заглянуть в топку. Ребёнок как-то нашёл для себя место. Стерпел. Не пожелал на свет раньше времени.

Можжевельным помелом разгребла Фимка угли к стенкам печи.

Жар готов.

Из тёмного закута выкатила ржаное яйцо – выходивший хлебный замес. Содрала с него дерюжную кожуру. На широкую лопату уложила листья и на них этот тёмно-серый голыш из теста.

Лопата с грузом уехала в пекло. Резко выдернулась, отлетела в сторону. Некогда аккуратничать. Печной бы жар не упустить.

21

Ржаным духом – печивом сначала наполнилось жилище.

Затем этот невиданный доселе в здешних местах горячий зланный дух распространился вширь по обжитой поляне славянина, потом просочился меж деревьев, тонкими струями проник глубоко в лес и достиг на пожне ноздрей Синца.

Послышалось на Пуе:

– Фимка! Хлебом сыты, хлебом и пьяны!

– Отрежем гладко – поедим сладко! – отозвалась жена.



Произошло это спустя, ну, наверное, 11042 года после того, как растаяла здесь последняя льдина вселенского холода.

Или, скажем, в лето 6959 от Сотворения мира.

Пусть будет даже так – 20 августа 1471 года. Или на день раньше, или на двести лет позднее – какая разница. Всяческие цифры и измерения лгут больше слов.

Главное, был день!

Был миг, когда из недр этого лесистого участка земли в долине реки Пуи на территории нынешней России впервые воссияло светило хлебного каравая.

Когда полыхнул в полнеба расщеплённый атом ржи.

Когда всякая птица, пронизывая над землянкой Синца купол тёплого воздуха, настоящего на жареном зерне, сбивалась в махе, сваливалась на крыло, делала круг, приседала на ветку вблизи становища, привыкая к новизне.

Всякий крот, учуяв запах печёного колоса, начинал копать в сторону Синца.

И в предчувствии близкого конца трепетали леса окрест...

22

И ноздри угорца Кошута тоже дрогнули от этого запаха.

В его народе если что и пеклось на огне кроме мяса и рыбы, так это «гомба» – губы, грибы.

Хлеб почитался за невидаль.

Редко-редко Кошут приносил с торжища краюху, намазывал лесным мёдом, угощал детей. И опять до следующего похода отца к злованам ждали они усладу...

23

День минул. Над щёткой лесов истончаются облака, словно подпалённые снизу клочья шерсти.

Семейство славянина справляет праздник первого каравая на брёвнах перед входом в землянку.

Августовские закаты тем ещё хороши, что, держа в воздухе тепло, уже квелият в траве комаров.

Овевания дыма от овина тоже способствуют отдыху от ненасытной твари...

Негнуцимися пальцами, словно клешней, Синец отдирает от каравая ломоть.

Пластинки ржаной корки отшелушиваются, разлетаются на ветерке.

Белые зубы стискивают хлебную мякоть.

– Откусишь мало, а жуешь долго, – мямлит Синец.

– Отзимуюем на голом печиве. Ну а на тот год – и с шаньгами, даст Бог, – мечтательно отвечает Фимка.

В сторону услады и у мужика мысли несёт.

– Ужо, управимся с жатвой – вершу сплету. Щуку добуду. Рыбник закатаешь...

Наполовину съели каравай, запивая смородиновым наваром из глиняных плошек, на досуге вылепленных и обожжённых Фимкой.

24

Фимке и Синцу было лет по двадцать. Поженились в самом соку. И, без сомнения, по душевной привязанности. Иначе бы им не одолеть ни водного перехода на плоту, ни изнури-

тельных трудов по вживанию в лесную пустыню. Иначе бы изгрызли друг дружку в безостановочном упряге.

Жили душа в душу и тело в тело.

Протяжённый путь предчувствовали впереди, образ семейного бытия стоял в глазах. Женское гнездовое начало в их положении было основополагающим.

Не выбродили ещё в Синце избыточные силы для каких-то предприятий вдали от этой обжитой речной излучины. Бродяжий мужской дух пригнетался сознанием зыбкости существования даже тут, под прочной кровлей с надёжным очагом.

За всё лето только однажды сходил он к угорскому старшине и шаману Ерегебу, в его стан Сулгар на соседней речке Суланде.

Ерегеб шаманил и ковал.

Неизвестно, каким из этих двух талантов более восхитил он своих соплеменников, заслужил среди них первенство. Одно помогало другому. Вопль шаманский, танец с бубном подкреплялись приручённой силой огня.

Подкову, найденную весной по пути через Заволочье, понёс Синец тогда угорскому кузнецу, чтобы вытянул он её в лезвие косы-горбуши.

Зимой стальным остриём удобно будет мездру со шкур соскребать.

Следующим летом – по прямому назначению использовать: купить у угорцев пару козлятушек весеннего отёла и каждой рогатой голове по копне сена на зиму наготовить.

Ещё через год отёл – и вот тебе и шаньги со сметаной...

25

Пробирался Синец по лесу в солнечный день без опаски заблудиться. Совсем ещё недалеко от своих угодий вдруг услышал треск и затем получил удар стрелы древком в плечо: стрела, не долетев до Синца, спасительно вильнула в кустах. Он оглянулся на шум и увидел волосатого человека с красными глазами. Обрывок шкуры был перекинут через плечо и стянут жгутом крапивы.

Красноглазый укладывал на древко лука другую стрелу. Синец со всех ног ринулся в чащу. Бежать пришлось в сторону от своего дома – упырь перекрывал ему путь к отступлению.

Через некоторое время Синец выломился на опушку леса.

Перед ним простёрлась долина реки Суланды, чередой землянок угорского поселения Сулгар.

26

Синец перебрёл через реку и подошёл к кузнице Ерегеба.

Лицо и руки племенного старшины были чёрны от копоти. Два его молодых помощника раздували жар в горне. Сам Ерегеб оттачивал на камне только что скованный нож.

Едва успел Синец раскланяться в приветствии, как опять увидел жуткого бледнолицего стрелка, спускавшегося к реке.

Возгласами и махами рук попытался узнать у старшины, почему этот человек хотел убить его. Старшина и вслед за ним его работники рассмеялись над страхами Синца, как над хорошей шуткой.

– Зергель! – повторяли они сквозь смех.

Вот и довелось встретиться Синцу с ходячим покойником, о каких рассказывали ему в славянских землях, зомбированным, по-современному говоря. Встретиться с олицетворённым приведением.

Что у славян существовало только в воображении – вурдалаки, упыри, лешие, то у угорцев находило воплощение в человеческом теле.

Только много лет спустя в долгом общении узнал Синец, как создавался Зергель.

Выбирали слабоумного, поили его отваром мухомора и багульника. Человек впадал в кому. Затем его отпаивали кровью оленя с козьим молоком. Он обретал способность двигаться, но напрочь лишался рассудка. Шатался по лесам как ходячий оберег. Или целыми днями живым идолом стоял на холме у жертвенника. Для него в племени отводили отдельную пещеру. Его кормили – приносили пищу. Ему давали лук и стрелы – символические, тупые, не убойные.

В качестве религиозной жертвы одаривали необходимой одеждой.

Кто лучший кусок отдаст Зергелю, кто не пожалеет только что выделанной шкуры – того Зергель оборонит от несчастий...

За ковку косы Ерегеб запросил плату в три хлебных каравая¹⁷.

Уже разнеслось по угорским стоянкам, что орос¹⁸ снимает урожай.

27

Остатки каравая Фимка завернула в лист лопуха и побрела через реку. Большой живот она как бы на плаву впереди себя толкала.

В зарослях ивы по тропке, набитой вдоль берега Кошутом, быстро достигла жилища соседа-угорца.

Общительность женщин, позыв их к единению не завершается, как у мужчин, братством по оружию, собиранием воровской шайки, пьянством.

Сестринство по любви и ласке, по зачатию и рождению предполагает оседлость, хотя, конечно же, с непременным условием строгой семейной обособленности, ареала.

Тутта сидела в центре двора, настороже. На открытом огне готовила похлёбку из вяленых рыбьих голов.

Вонь стояла для беременной Фимки нестерпимая. Она виду не подавала. Задобрила хозяйку светлейшей улыбкой и подношеньцем – полукараваем.

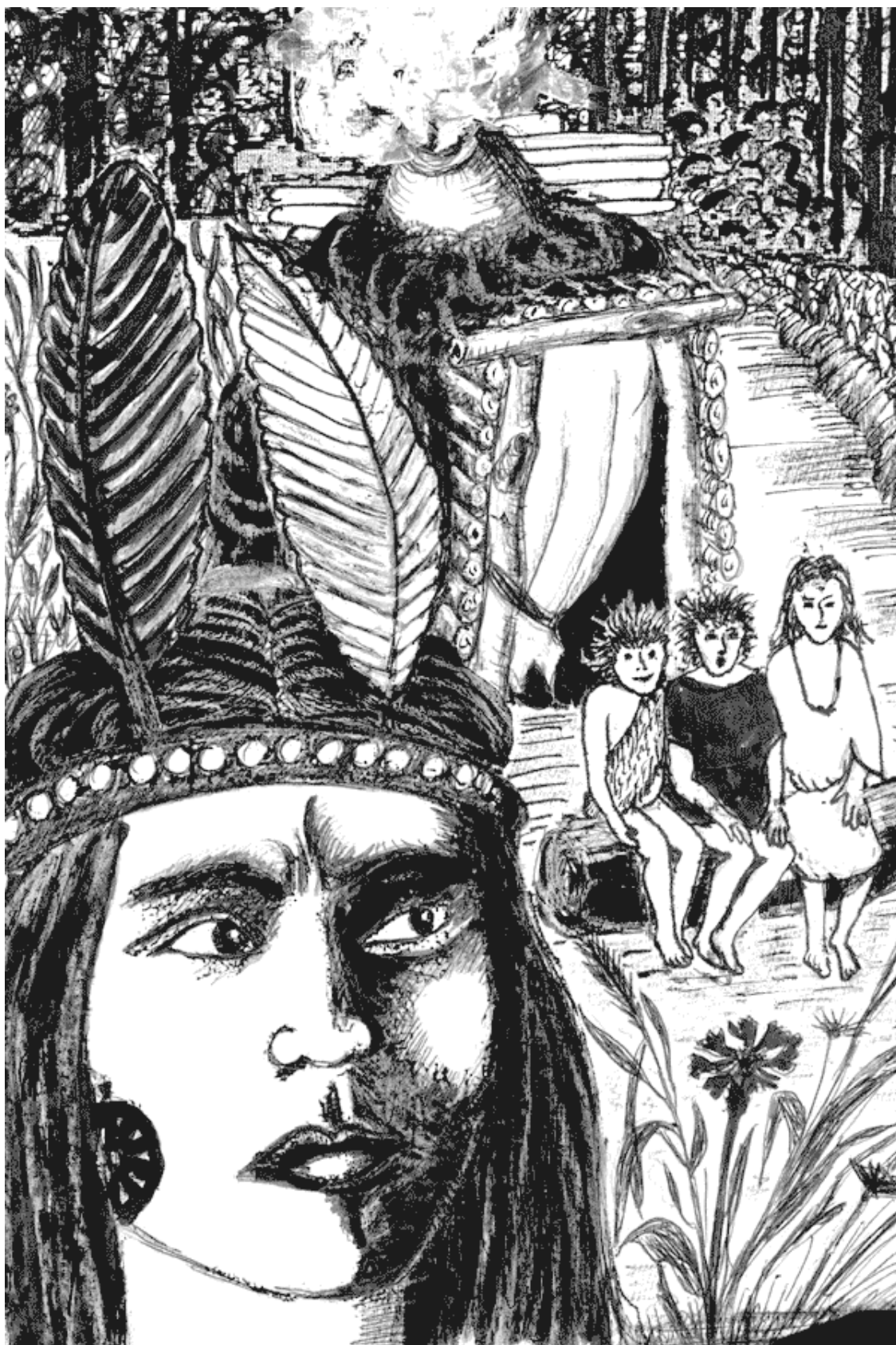
Молча любовалась детьми соседки как наглядным воплощением того, что ещё дозревало у самой в утробе.

По родовым понятиям угорцев весь ум, вся суть женщины состояла в ребёнке. В детях.

Во всех выпуклостях и впадинах женского тела, во всех изгибах и округлостях усматривали они младенчиков. Женщина для угорца вся как бы и сложена была из младенчиков.

¹⁷ Харом кеньер.

¹⁸ Русский.



Время от времени они отделялись от слепка один за другим, а на месте отпавших нарождались новые...

Угорцы выкладывали на земле из камня фигуру женщины. И если рождалась девочка, один камень из фигуры убирался, становился основанием другой композиции. Такие каменные лежащие матрёшки окружали капища.

Тут на Суланде, в центре племенного обитания, подобных наземных мозаик было не счесть.

Когда распахивали холм тракторами, целые пласты мостовых выворачивались. Не сланец какой-нибудь, известняк, обычно залегающий на высотах, а речной, обкатанный течением галечник...

Под столбом с оберегом – лосиными рогами – у входа в землянку Кошута разноязычные женщины, Фимка и Тутта, объяснялись жестами, улыбками и кивками.

Фимка угодливо гладила по голове младшего угорца. Тутта понятливо бросала взгляды на её живот.

Фимка озабоченно вздыхала. Тутта сочувственно качала головой.

Более глубоким вздохом Фимка выразила свою крайнюю встревоженность предстоящим ей событием. В ответ Тутта дала своему ребёнку подзатыльник, мол, ничего страшного, они сами выбираются на свет, сами за жизнь цепляются.

– Нем фелеш ала кар!¹⁹

28

Обратно от кузницы шамана Синец шёл с оглядкой. Совсем недавно сам наводил страх на угорцев своими очистительными пожарищами, а после встречи с Зергелем и его припекло. Так что дома первым делом наказал Фимке из солёного теста слепить крестик, обжечь в огне.

Фимка обмазала горячий крестик брусничным соком и нанизала на гайтан из заячьих жил.

Назавтра Синец уже с этим оберегом на шее, с молитвой на устах и с тремя караваями в плетёнке шёл в Сулгар расплачиваться за ковку косы.

Солнце садилось. На холме у кузницы было светло, а в низине у реки день померк, из оврагов туда наволакивало тумана.

У кузницы вокруг ямы с раскалёнными углями толпились угорцы.

Шаман Ерегеб бил в бубен, камлал.

«Вишь ты, какая у них служба-то!» – думал Синец.

Православную литургию он знал и в камлании пытался приметить сходства.

На его взгляд, Ерегеб изображал смерть, медленно кружился и оседал. Ребром ладони шаман как бы рассекал своё туловище на части. Кидал «обрубки» в огонь для очищения.

Вдруг совсем натурально выхватил уголь из горна и вдавил его себе в обнажённую грудь.

Угорцы исторгли при этом общий стон. Женщины завизжали.

Ерегеб охлопал руки от сажи. Смахнул с груди угольное крошево. Никакого ожога ни на теле, ни на ладонях заметно не было.

Шаман блаженствовал, запрокинул голову и кружился.

«По-нашему всё равно что вознесение», – подумал Синец.

29

В ожидании конца обряда Синец обошёл кузницу и остановился возле наковальни, вбитой в чурбак.

Он сам желал заняться огненным ремеслом. Знал, с чего начать.

¹⁹ Не лезь под руку!

В небольшом озерце возле своего жилища давно приметил бочажину, покрытую синей маслянистой плёнкой – верный признак болотной руды.

Надо докопаться там до твёрдого дна. И скребком выволакивать породу на сушу. Промывать её на холстине. Твёрдые катышки откладывать. Когда наберётся горстей десять, высыпать их на раскалённые угли, обжечь.

Потом катышки обстукать камнем от окалины. И полученную железную крошку расплавить в тигле, слепленном из жаростойкой белой глины.

Пока плавится железо, в мокром песке вылепить форму молотка и залить её жидким металлом.

Молоток готов. Только на рукоять насадить...

Раз в двадцать больше руды потребуется на отливку наковальни, перед которой стоял Синец. На добычу придётся всё будущее лето убить. А кто за него станет избу рубить, пахать, сеять, косить?

Только две руки у Синца. Когда ещё вырастет помощник. Да, может быть, и вовсе девка родится.

Зато себе наперёд заделье продумано.

Мечта имеется.

Без этого жить тревожно.

30

Камланье заканчивалось.

Каждый из участников таинства подходил к Ерегебу и клал руку на его плечо.

Последним поклонился перед ним Синец и подал хлебные караваи.

Получил косу не длиннее серпа – больше из подковы не вытянуть. Однако и это уже было серьёзное орудие.

Только вот придётся часто бегать к Ерегебу для отбивки лезвия. Своего-то обушка нет.

«Ничего, ничего, и мы кузню заведём», – думал Синец.

Ещё одно дело имелось у него к Ерегебу.

Зачем же следующего года ждать для обзаведения скотиной, коли можно и в конце этого первого лета успеть наготовить сена на зиму, с новенькой-то косой.

На гаснике висел у Синца кожаный мешочек, а в нём двадцать пять резан – одинаковых обрубков серебряной, с мизинец толщиной, проволоки, что составляло две куну.

На эти деньги и намеревался купить Синец у угорца стельную козочку.

Синец приставил указательные пальцы к голове и заблеял перед Ерегебом.

А потом похлопал по кошельку на поясе.

– Кешке, – понял Ерегеб.

– Кешке, кешке! Козочку бы мне, – обрадовался Синец. И выкинул перед лицом Ерегеба пальцы числом двадцать.

И позвенел в кошельке серебром.

Ерегеб отрицательно качал головой.

– Деген пеньч²⁰.

Из своего кошель достал квадратные палочки. На них были вырезаны разные фигуры.

– Ольян пеньч бир?²¹

– Таких нет.

После чего Ерегеб указал на хлебные караваи и выкинул пальцы пятнадцать раз.

²⁰ Чужие деньги.

²¹ Такие деньги есть?

– Кеньер!²²

31

Домой Синец отправился распоясанным.

На поясе волок козу за рога.

– Наши деньги у них не в ходу, – сказал он Фимке. – У них баш на баш. Пятнадцать караваев – это ты за три уповода управишься. А с деньгами-то я на торжище чего хочешь добуду. В прошлом году у них там за две-то куны торбаса давали. Как же без торбасов? Зимой на охоту в чем пойдешь?

32

С расплатой за козу вышла задержка. Вместо того чтобы наладить производство хлебных караваев, вздумала Фимка рожать.

Тем утром Синец уплыл на плоту в низовые омуты за рыбой. А Фимка в одиночку молотила, ссыпала зерно в чан.

Грубые плахи этого зернохранилища были схвачены обручами из расщеплённых прутьев. Высота – по грудь. И вот когда она стала поднимать очередной куль на кромку чана, вдруг резануло её вдоль позвоночника и ноги подкосились. Зерно выплеснулось на землю.

Она села почти без чувств от боли. Бессознательно на спине, на локтях поползла к реке.

Задрала поневу, трясущимися руками развязала узел на обрезке рыболовной сети, носимой на животе для оберега.

Расплела косу – по приметам. Легла в воде головой на сушу, ногами на глубину. Сразу полегчало. И началось.

Сперва между ног вода стала мутной. Потом что-то похожее на камень-голыш увидела Фимка внизу живота.

Розовое плечико.

Потом она будто выстрелила ребёнком в воду. Выхватила его с глубины, вскинула в воздух. И он сразу подал голос.

Она его между грудей уложила и выползла на берег. Перевалила на траву.

Метровая пуповина ещё скрепляла нутро матери и младенческое брюшко. Чтобы разъединиться, Фимка потужилась, и коврига детского места выскользнула из неё.

Теперь всё, что было в её утробе, – ребёнка и плаценту, она оставила у воды.

Вернулась с серпом и обрезала пуповину, предварительно перевязав её ниткой из подола.

В доме обмыла ребёнка.

Дала грудь.

Уложила на труху из гнилого пенька березы²³.

Фимка укрыла ребёнка оленьей шкурой.

А тут надо сказать, что олени ворсинки трубчатые, всасывают пот, влагу. Кончики отгнивают и сами собой отпадают. Только просушивай да выбивай хорошенько шкуру дня через два-три... Такие многоразовые памперсы...

Младенец уснул в самом тёплом месте землянки, где обычно у Фимки выхаживалось тесто.

²² Хлеб.

²³ Такой присыпкой пользовались ещё в начале XX века.

Деревянным заступом она выкопала на берегу ямку. Остывшую плаценту захоронила там под кустом шиповника.

Из жилища – рёв. Ребенок зовёт.

На ток, убитый цепами, зовут высушенные снопы. (Ночью набрякнут от росы, снова их надо будет в овин. Хоть горсть намолотить, а потом уж и к дитятку.)

Во время кормления из памяти поднимались ласковые слова, коим никто никогда Фимку специально не учил:

– От тебя, мой свет, моя капелька, я сама всякую беду отведу. Будет куполом тебе любовь моя, колыбелькою – моё терпение, молитвою – утешение. Дождалась тебя, мой свет, как земля зари, как трава росы, как цветы дождя...

33

У отца своё соскочило с языка при виде новорождённого. Затемно приплыл к жилью уставший Синец. Посмотрел, ухмыльнулся:

– Давай расти. Поматюгиваться научу.

Кажется, больше радовали отца шуки на кукане. В самом факте рождения ребёнка не виделось ему ничего особенного. Плоть отделилась от плоти как яйцо от утки, как зерно от колоса.

Выход ребёнка из чрева матери, как всякое движение на Земле – воды, воздуха, птиц, рыб и червей, как ток крови в жилах или поедание пищи, – не удивительны были для человека тех времён.

Мальки плавают в тёплых заводях, птенцы пищат в гнёздах, зверята в норах...

Зачатие – вхождение мяса в мясо. Роды – возвратный ход.

А первенец к тому же – лишь начало многочисленных будущих рождений, пробивание путей.

Сколько ещё появится их, таких горластых. Одна забота всё-таки донимала отца:

– Крестить надо! А до храма мерила старуха клюкой да махнула рукой.

– Без имени ребёнок – чертёнок, – согласилась Фимка.

– Ну, пускай хоть Ванькой пока побудет.

– Иванов как грибов поганных. Мне Никифор по сердцу.

– Хоть горшком назови.

И отец уснул на ворохе соломы по другую сторону глинобитной печи.

В какой летописи, каким подъячим означена эта ночь? История академических фолиантов и школьных учебников! Что ты скажешь об этой ночи у безымянной излучины реки Пуи? Конечно, было у этой ночи своё число. Поиграем опять в цифры: 12, 21 августа 1524, 1425, 1245 года...

Покопаемся в архивах. Найдём соответствующие записи в эти числа. Посещение каким-нибудь князем дальних уделов – за поборами князюшко нагрязнул. Приём каких-нибудь послов с подарками государю. Хорошо, если про пожары будет упомянуто в летописи, про наводнения и засухи.

Это, по документам, самое короткое приближение писаной истории к жизни таких, как Синец и Кошут, Фимка и Тутта. Большие не найдёте ни слова! Где в трудах историков тот, кто изобиходил эту пядь земли на Пуе? Где история его ежедневного бытия? Или наша русская история, как наука, оплачиваемая государством, комплиментарная по отношению к заказчику, а может быть, ленивая и нелюбопытная, просто закрывает глаза на Синца и Кошута, Фимку и Тутту? Движение истории посредством

пахоты, кормления детей,ковки топора, постройки дома, вырезания ложки, сборки колеса и варки мёда не принимается во внимание.

Движение истории путём обмена хлеба на серп, коровы на телегу, горшка на крестик считаются мелкими, незначительными.

Движение истории от землянки к терему, от часовни к храму, от плота к долблёнке, от лаптя к сапогу, – эти фундаментальные движения, сродни тектоническим, словно бы отбрасываются за ненадобностью...

34

...А ночь эта после первых родов Фимки была неповторима, как все предыдущие и последующие.

Ночь первого коренного жителя этого места Земли сначала в полной тишине бликовала зарницами, а потом пролилась шумным дождём. Этой водой младенец будет вспоен, зерном с этого суглинка вскормлен.

С каждым глотком, с каждым кусом будет усиливаться его связь с этой твердью. Образовываться в его сознании, расти будет вместе с ним понятие даже не родины, не места рождения, а точки его посадки на Земле.

Вот он лежит в свете тлеющих углей очага, слепой, морщинистый, утомлённый тяжёлым переходом из вечного блаженства к юдоли земной.

Отмахивается кулачками от каких-то только ему видимых химер. Сучит ножками в попытке избавиться от колючей оболочки.

Срыгивает и мочится.

Кажется, и в самом деле никакой ценности для истории не представляет это нелепое существо. Только для матери. Но и мать-то никому не известной проживёт и станет прахом – песком и глиной.

Из кельи монаха-летописца такие лица были неразличимы. Появлялись – исчезали.

Впрочем, и сами они ни о каком особом внимании не помышляли.

Но всё-таки как-то и они понимали, толковали череду своих дней. На какую-то награду уповали в холоде-голоде, беде-несчастье в такие длинные, тёмные ночи в ожидании неземного, дальнего света утра, когда сердце вдруг начинает сильнее биться и сна ни в одном глазу.

В дымник брызжет дождём, несёт холодом из-под полога у входа.

Шевелится, кричит младенец в углу. Живая душа. Вот не было её – и вдруг появилась...

Глубокий вздох слышится в землянке.

Кто-то шепчет: «Спаси, сохрани».

И сами собой после этого сожмуриваются глаза.

Приходят покой и сон...

Не гусиным пером по пергаменту будут записаны их жизни, но, переведённые в образы духовные, через столетия будут считаны с небес медиумом.

Ставшие частицей биосферы, уловятся тончайшим зондом учёного. Сохранившиеся в корке земли в виде лептонных излучений, тронут обнажённый нерв художника...



35

На следующий день принялся Синец за баню. Такую же землянку срубил, только поменьше, на корточках едва повернуться, иначе зимой дров не напасёшься.

Корыто выковырял топором из осиновой колоды. Туда в воду раскалённые камни – и вечером уже всей семьёй парились. Пот, грязь с тела счищали щепкой.

В бане можно было теперь младенца обмывать круглые сутки. Простуду, кашель лечить. Придёт стужа – в баньку и козу застанут на ночь.

В оставшиеся тёплые дни Фимка берёт с собой в ближний лес ребёнка в плетёной корзине.

Косит для рогатой скотинки по опушкам, по берегам. Траву развешивает на жерди. Охапками складывает в кучи. Стогует деревянными рогатинами.

Синец валит на пашне обгорелые деревья, выжигает пни до корневищ. Прокоптился, бороду подпалил. Даже после бани от него пахнет жжёным волосом.

Половину урожая успели обмолотить засухо.

Потом ждали, пока после осенних ливней глина на току застынет. И снова взялись за цепи, а вернее, за гибкие концы длинных прутьев.

Комли исколачивали до мочалы.

Много дней подряд мог теперь позволить себе Синец не ходить на охоту. Хлеб не переводился. Мукой забалтывали грибное варево. Или кашу варили.

Парили бруснику.

Урожай освобождал!

Синец с рассвета до потёмок обустривал, совершенствовал владения. Что ни день, то на ряд прирастал сруб избы на возвышении. (До весеннего половодья надо было успеть переселиться с береговой низины. Иначе смоем.)

Соль выпаривалась на болоте.

Лапти плелись. И костяной иглой шилась душегрейка из шкур забитых на палеве зайцев.

(А прежде эти шкуры для размягчения поливались мочой и коптились над костром для мягкости.)

Вокруг жилища колготиться одно удовольствие, но по первому снегу всё-таки грех не сходить за свежениной.

36

Петли сплёл Синец из заячьих жил. Вдел эти жгутики в трубчатые утиные косточки. Чтобы зверёк не перегрыз.

Заострил десяток колышков.

В лесу путь отмечал зарубками на деревьях. Вокруг установленной петли-силка окуривал головней с пожарища – тыкал в снег, чтобы отбить человеческий запах.

Затеси на дереве – метки для обратного пути – обмазывал глиной, разогретой и размятой в ладони, чтобы видом этих знаков не спугнуть ушастого.

Вдруг за оврагом на другом берегу безымянного ручья почуял движение. Пригляделся – это Кошут ставит свои силки.

– По ручью, значит, у нас с тобой межа будет! – прокричал Синец, раскинув вширь руки. – Там твои уголья, здесь – мои. Лес большой. На всех хватит.

Так появилось у ручья русское название Межевой. Оно до сих пор на слуху. И даже на мелких картах обозначается.

Лес, конечно, и вправду был бескрайний. Но после вторжения Синца, на два-три километра (шузаг) дальше пришлось брести Кошуту в глубь тайги, торить в тяжёлых снегоступах новые тропы, тратить дополнительные силы.

А Синец исхитрился ещё и лыжи себе вытесать. В бане распарил концы досок, загнул. Горячей сосновой смолой – живицей пропитал, чтобы не налипало. И в три раза быстрее Кошута стал по снегам скользить.

Кошуту – прибавка пути и трата новых сил, Синцу (на лыжах в сравнении со снегоступами Кошута) – сбережение.

Кошуту нужно каждый день в лес за пищей. Синцу неделю на каше можно прожить, не ломаясь в дальних переходах.

Кошут привязан к жилищу. Синец имеет хлеб в запасе и может себе позволить праздную отлучку.

37

...Сало, шуга, забереги – и только потом на Пуе – ледостав.

Под ногой Синца сверкает зеркало в два пальца толщиной с живыми пузырями воздуха в зазеркалье.

На широкой лыже – плахе, политой снизу водой на морозе для лучшего скольжения, привязаны кули муки. Через плечо перекинута лямка.

Воз под пятки подбивает. Хорошо, задники у лаптей высокие. Не лапти это были, а бахилы. Синец сплёл их специально для похода²⁴.

38

В бахилах шёл Синец по льду реки.

По берегам через сетку прутьев насквозь далеко видеть. Внизу, подо льдом, как на ладони – донные коряги на песчаных дюнках.

Вверху – зыбкая бледная голубизна утренней морозной выси.

По тонкому прозрачному льду шёл человек будто по воздуху, если представить, что лето вокруг и лёд растаял.

Не шёл – летел, подбегая и подкатываясь. Сани опережали. Кто кого тащил – не понять.

Голова Синца обёрнута заячьей шкурой. На плечах клокастый заячий тулупчик, грубо сшитый жилами тех же зверьков.

Портки подвязаны гашником.

Ну, и новенькие берестяные бахилы на ногах...

²⁴ Колодка для бахил, сдвоенная, разборная, до сих пор пылится на чердаке моего дома в деревне, названной по имени первого здешнего славянина Синцовской. Хоть сейчас изготовлю бахилы. Бересту нарезать лентами с дерева каждый сможет. Кочедыг, такое большое шило, занять тоже не проблема. Можно сучок соответствующий подыскать. Им сплетения расширять, чтобы вгонять туда полосы бересты. Берёшь шесть лент и для начала вяжешь из них «девичью косу». Это будет стелька. Загибаш её и производишь оплётку носка. Потом задника. И стягиваешь всё боковинами. Для бахил потребуется ещё голенница доплести. Пара готова за полдня. Остаётся портянками, или онучами, что одно и то же, обмотать ступни. Оборам, то есть верёвочками, обвязать. И – вперед. Так ещё в Красной армии солдат обували. В большие морозы, конечно, требовались липты – тапки мехом внутрь. Ну, и обязательная просушка на ночь...

39

Торжище у угорцев выпадало на праздник бога Ен, на первые морозы, когда вода становится твёрдой, как земля.

Бог Ен, создавая всё сущее, послал младшего брата Омоля на дно Мирового океана.

Нырнул Омель первый раз, вынес из глуби горсть земли. Из неё были созданы почва и леса.

Нырнул ещё. Из этой жмени Ен слепил животных и человека, остовы тел предварительно сплетя из тальника.



Третий раз нырять запретил. Но Омель не послушался, ушёл под воду, чтобы сотворить всякий гнус.

Тогда-то Ен и покрыл воду льдом, запер Омоля в нижнем царстве.

Наступили на Земле долгие холода. Человек не выдержал, запросил у Ена тепла.

Ен слышал мольбы, растопил лёд. Но, улетая на небо, в верхнее царство у Полярной звезды, оттолкнулся посохом о землю так сильно, что пробил отверстие, откуда вырвались комары и болезни...

40

Матёрая ракета высилась посреди низины в слиянии Пуи и Суланды. Вокруг ракиты были наскоро выстроены шалаши для обогрева и ночлега.

Открытые костры во множестве горели на месте торжища. Между ними толклись люди в грубых меховых одеждах в виде курток – оседлые угорцы – и в длиннополых малицах – владельцы оленьих стад, те, кому бог Ен дал не менее трёх сыновей для пастушьего дела, чтобы весной откочевывать на Север, в тундру.

Слышался говор, крики.

– Болдог унепекет Ен! Онек а вамот тиз пас. А харом дар вёркер ез чеже²⁵.

Торговали шкурами. Ремнями для оленьих упряжек.

Можно было здесь и новые нарты приобрести. Глиняную посуду. Обзавестись топором, ножом.

Жене в подарок привезти с торжища украшения из бронзы: кольцо с двойной спиралью, в значении ума и находчивости. Шаманские кулоны в виде человечков с большими ушами. Бронзовую скрепку для волос – фибулу.

Были тут и костяные амулеты – кончики лосиных рогов с витиеватой резьбой, медвежьи клыки.

Швейные иглы из костей щук в палец длиной. Вместо ушка – надрез. Острием иглы шкура прокалывалась и в надрез, как крючком, протаскивалась жила – нить.

Главное было иметь деньги (пасы) – квадратные палочки с зарубками.

Или товар на обмен.

41

Великое годовое камланье началось на торжище в сумерках. На полную разожглись костры. Шаман Ерегеб встал под ракиту, обвешенный амулетами, лисьими хвостами и перьями тетеревов.

Возле шамана приплясывали два помощника. У одного через плечо перекинута была волчья шкура – для спуска по приказу в нижнее царство. У другого в руках трепетали утиные крылья – для полёта в верхнее.

Раздались мерные удары в бубен колотушки (орба), обтянутой камусом – цельной шкурой, чулком, с ноги оленя.

Ерегеб бил всё сильнее, сначала по одной стороне бубна – взывал к духам верхнего царства, потом по обратной – к духам нижнего.

– Ум-м-м!

Этот утробный звук заставил умолкнуть торжище. Голос повышался, переходил в открытые регистры.

– Ен сусне хум-м-м!²⁶

Голос шамана был такой силы, что звенело в голове.

Как если бы стая чаек кричала одновременно над этой заснеженной излучиной Пуи.

²⁵ Поздравляю с праздником Ен! Это стоит десять пас. За три куса кожи прошу этот горшок.

²⁶ Ен смотрит сверху.

В морозном вечере шаманские призывы разносились далеко поверх лесов. Только обладатель выдающегося вокала мог камлат. Необычно сильный голос – дар сверху. Сам бог Ен говорил с народом этим нечеловеческим звуком.

Пение, как сказали бы сейчас, было атональное. Никаких тебе чётких терций и квинт. Бесконечное завораживающее глissандо под гулкий бой бубна и треск сучьев в огне костров.

– Светлое божество Ен. Дай нам удачу хоть иногда. Дух-покровитель охоты, почаще спускайся к нам на землю. Дух Ельника, будь всегда на своём месте. Дух рек и ручьев, не отлетай далеко от берегов. Дух – хозяин бубна, звучи сильнее! Они здесь! Курите, курите им быстрее!

В толпе камлающих началось движение. Растёртые сушёные листья багульника угорцы спешно выгребали из потайных углов одежды, выкладывали кучками на утоптаный снег. Опускались на колени, бросали угольки в душистый порошок, раздували и раскуривали в глиняных трубочках.

Служки поднесли шаману тлеющий уголь, и он съел его, что означало готовность подняться на семь ступеней к верхнему царству и переносить на землю души заболевших людей.

– Души детей Ена ловите! – крикнул шаман из верхнего царства.

Толпа с воздетыми вверх руками начала бег вокруг ракиты.

Шаман бил в бубен семь раз по семь с перерывами. Между сериями ударов обыгрывал бубен, представлял его то щитом, то лодкой, то луком для стрельбы. А колотушку – плетью, веслом, стрелой²⁷...

42

На второй день по обычаю забили на празднике Ен рогатого оленя.

Уже солнце поднялось высоко, когда Синец отмахал путь от землянки до торжища и выволок сани со льда на берег.

Общая трапеза была в самом разгаре. От туши отделяли тонкие ленты (строганину) и раздавали всем желающим.

Опускали в рот язык на язык.

Сырое сочное мясо запивали брагой из малины.

Колотили костями-бабками по висячим дощечкам – барабанили.

Дудели в связки гусиных перьев. Угорские мужики орали:

Напился допьяна
В день великого праздника.
А теперь прошу вас,
Люди добрые,
Увезите меня домой.
Я приеду в свой дом,
Где нет хмельного поила.
Буду долго спать.
(Вал хозу алжик)

²⁷ Камланье угорцев – это была народная игра, наполненная величайшими для них смыслами. Чистые сердцем, близкие к истокам человечности, они верили, что все попадут в верхнее царство. И бог Ен не станет разделять души на злых и добрых, назначать одним наказание, другим поощрение. Понятия греха, как и праведности, в среде угорцев не существовало, ибо степень зла и добра в их поступках не достигала такого предела, когда требуется их отчётливое разделение в слове. Намеренных злодеев не существовало, не заводилось и присяжных праведников. Потому ни ада вам, ни рая. А – «все там будем». На небе. Все до единого. Все вместе. Как и на земле. И святым для живущего был всякий умерший... Религиозное действие закончилось подвизыванием на ветви ракиты меховых полосок из шкурок лисы, зайца, барсука, камусов оленя – жёлтых, серых, белых, пятнистых. Ночевали кто в шалашах, а кто у костров, завернувшись в малицы.

Женщины не отставали ни в питии, ни в пении:

У матери Мухоморихи шестеро детей,
Она идёт, хромает,
Ведёт своих детей за руки.
Ходит по домам в гости, где брагу пьют.
Её одежды развеваются,
И шестеро детей поспевают следом —
Все на одной ноге...
(Менденки еги лаб)

Но и торг за буйством не забывался. За один куль муки дали Синцу торбаса²⁸. Другой куль выменял он на долото.

В торбасах снега одолевать. А долотом пазы выбирать на обоконниках и притолоках строящейся избы.

К тому же на уме у него было – за долгую зиму два колеса сработать хотя бы для ручной тележки, да ткацкую раму, да трепало, да чесало. А без долота к такому делу не подступиться.

Объяснялся он на торжище руками и пальцами.

Озадачен был множеством чужого народа, угнетён непонятным говором.

Уже собрался в обратный путь, как вдруг с окраины гульбища донеслась родная речь – крик!

43

Синец протиснулся через толпу на эти голоса и увидел двух русских мужиков возле саней, запряжённых мохнатой лошадкой. Один, молодой, высокий, отбивался палкой от Зергеля и кричал бабьим голосом:

– Изыди, сатаны ангел мятежный! Яко да возбдни от мглы нечистой! Матерь божья, помози ми!

Он был в суконной свитке и в лаптях из кожаных ремешков. В пылу битвы в снег упал его колпак.

Другой русич, пожилой, бородатый, в валяной шапке и длиннополом кожухе, только крестился и гудел басом:

– Свят! Свят! Свят!

Угорцы оттеснили Зергеля и молча окружили заезжих.

Пришлый, оставаясь простоволосым, вытащил из-за пазухи крест и поднял над головой.

– Беке велетек!²⁹ – произнес он по-угорски.

Дальше стал говорить по-русски, непонятно для слушателей:

– В ваших землях ко святой вере призывать отряжены Отцом Богом нашим иже с ним иерархами Святой Православной Церкви. Благословение получили от епископа Великопермского, вашего единокровца Феофана. К старосте имеем от него грамоту и на словах передачу. В сей грамоте прописано обид нам не чинить. Какой ни есть постой предоставить. А пропитанием вас не отягчим. Своего до весны хватит. Поклон вам земной от меня, дьякона Петра, и священника Паисия.

²⁸ Высокие сапоги мехом наружу.

²⁹ Мир вам.

Под действием серебряного распятия Синец невольно осенил себя крестным знамением и поклонился.

Воровски оглянулся на окружающих угорцев – как бы этим не досадить им.

Вперёд вышел иерей.

В отличие от дьякона он говорил по-угорски, хотя и с большим трудом, коряво, едва понятно:

– Жени еревел нем. Ме лакик ён. Христос ерсет – мага меркеш³⁰.

Толпа закашляла, заговорила... Расслабились.

Это была первая проповедь отца Паисия среди угорцев. Первые слова Православия на берегах Пуи и Суланды. Первый трагический удар по коренному народу. С точностью до года известно, когда он был нанесён: об отце Паисии осталась пометка в епархиальных архивах. Подлинно записано, что преставился священник Паисий в своём суландском приходе на двадцать восьмом году миссионерства, в 1479-м. «Злодеяниями разбойной Угры». Значит, описываемое событие произошло в 1451-м.

Сменил его в приходе дьякон Пётр (Коростылёв), говорится в летописи.

Строка в скрижалях осталась о сих ничтожных особах потому, что состояли они людьми государевыми, хоть и в рясах. Уловителями души на потребу власти Василия Тёмного. Неужённый был князь! Четыре раза его шибили с Великого стола коллеги: два раза князь Галичский, по разу Звенигородские. Но он живым выбирался из передраг и вновь обретал права и чинил расправы. Это было очередное Смутное время на Руси.

Завершилось оно спустя столетие большой кровью Ивана Грозного.

Как и следовало ожидать, ничему не учила политическая история людей тех лет ни на Руси, ни в других краях.

Через век снова та же напасть терзала Москву в лице Лжедмитрия.

Король Польши воевал с магистром тевтонского ордена.

В Германии кровавые шибки затевали епископы.

Французский король аннексировал Бургундию. В Англии Эдуард бился с Генрихом...

Пробегите взглядом по историческим хроникам любого государства – всё одно и то же. Колесо престольной, писаной, официальной истории испокон вращается на одном месте.

И сейчас те же стщицы мелькают: война, голод, разруха, грабёж, революция, перестройка, опять война. И всюду свой вождь, герой, исторический «деятель».

А между тем одновременно совсем другая история творилась настоящими её Деятелями – в бревенчатых хижинах Севера, глиняных саклях Юга, бамбуковых фанзах Востока, каменных бундах Запада.

Скапливался другой исторический опыт. Набиралась критическая масса истории Повседневности с её вечными ценностями, распотанными, попранными, отвергнутыми историей государств, политических «звёзд» и глобальных событий.

Но до коперниковского переворота во взгляде на историю даже и теперь ещё далеко.

³⁰ Никакого принуждения чинить не станем. Будем жить как вы, только своей верою. Кого Христов дух осенит, тот к нам сам придёт.

44

...Старшина Ерегеб вёл миссинеров на постой в своё жилище.
Синец попевал следом за попами, подобострастно хватал их за руки. Пытался поцеловать.

- Батюшки, вразумите. Счёт дням потерял. Какое нынче число?
 - Ноября шестнадцатый день.
 - Слава тебе Господи! Просветили! Челом бью! Младенца бы моего надо крестить. Народился, а к таинству не причастен. Или хоть через меня благословите его, святые отцы!
 - Кем наречён?
 - Никифором.
 - Благословляю раба Божьего Никифора.
 - Мало нас тут. Еще жёнка Евфимия. А больше ни одной православной души.
 - Ну, плодитесь и размножайтесь.
- Синец отстал, напялил на голову колпак. На порожние сани приторочил торбаса.
Долото, будто холодное оружие, сунул за пояс.
И с радостной для Фимки вестью о прибытии церковников в пределы обитания озорно съехал на санях с крутого берега.

45

Зергель выл в своей холодной пещере. Корчился. Сжимался в комок. Распрямлялся и бил головой о стену.

Прежде чем попасть сюда, он топтал конские яблоки, оставленные мохноногой лошадкой на снегу. Плевал в следы попов, уходящих за Ерегебом. Кидался голой грудью на угли в костре. Его насилу уняли и уволокли с глаз долой.

После приезда священника и бунта безумца праздник разладился.

Ещё в деревянных чашах плескалась брага, но хмель отступал. Брал верх рассудок.

Угорцы судачили:

- Пап кётел лакик злован.³¹
- Перемь пап лакик комен.³²
- Угор нем коми.³³
- Талай мендем сок.³⁴
- Зергель нем акар.³⁵
- Вар наги Бай.³⁶
- Ен зегит.³⁷

Они жили на своей земле с ледниковых времён. Как пришли сюда с потеплением, так из поколения в поколение и раздвигались по лесам. Их не коснулось переселение народов. Такой угол на Земле они занимали, что

³¹ Священник должен жить у славянина.

³² В перми священники живут с коми.

³³ Угорцам нет дела до коми.

³⁴ Земли всем хватит.

³⁵ Зергель против.

³⁶ Жди большой Беды.

³⁷ Бог Ен поможет.

организованные вторжения татар и европейцев гасли, теряли силу за многие «иузаг» до них, откатывались восвояси.

Шайки разбойников промышляли только по большим рекам.

Славян, вроде Синца, укоренялось среди них ничтожно мало. Никогда не возникало необходимости в военном отпоре. Не от кого было обороняться. Ничью кровь проливать не требовалось. Да, угорцы убивали животных. Но в остальном-то их существование было, можно сказать, райским.

Ракита почиталась за древо познания добра и зла.

А у ракиты нет плодов.

46

...Из плотной чёрной тучи, как из жерла, стало хлестать снежной крупой. Потом, словно космическое тело, туча эта закрыла солнце и мгновенно потемнело.

Метель завилась вокруг ракиты, ринулась по руслу реки. Секла глаза. Пробирала до костей. Срывала пламя с костров, предсмертно ярко раздувала жар под головнями.

Снежные обвалы чередовались с неожиданными просветлениями. Мокрые безбородые лица угорцев то сияли на солнце, то покрывались ледяной маской.

Вместе с кострами угасал и душевный пыл.

Праздник Ен заканчивался.

Молча разъезжались на нартах.

Угрюмо, внаклонку брели сквозь метель.

К ночи торжище оказалось засыпано снегом по щиколотку.

Синий лунный свет, словно холодный пар, залил излучину.

Один Зергель с луком в руке из конца в конец бороздил опустевшее торжище.

К полуночи изнемог, сел под ракиту спиной к стволу.

Утром его нашли здесь мёртвым.

Похоронили, как было принято, на боку, сложенным калачиком. Укрыли еловыми ветками, закидали комьями земли.

И в тот же день староста Ерегеб позволил православным миссионерам переселиться в освободившуюся пещеру страшили.

47

В пещере стены и потолок лоснились от копоты. Длинным помелом дьякон посшибал висячие гроздья сажи. Накидал веток на пол.

Колокол, клёпаный из листовой меди, в пуд весом, заволок в дальний угол. Водрузил на перекладину и для пробы ударил биллом.

Звук раздался резкий, сигнальный.³⁸ На колоколе был знак – крест с четырьмя маленькими крестиками в углах. Достался он церкви, скорее всего, ещё при Александре Невском как трофей в битве с тевтонами.

Клепался внахлест из четырёх пластин. Вид имел угловатый. А цвет – синий.

Поздним вечером под этим колоколом отец Паисий принимал шамана Ерегеба. Сбивчиво, со сдержанным жаром вели на шкурах богословский диспут.

– Что хочет ваш угорский бог Ен?

– Ен хочет, чтобы никто не болел. А что хочет ваш Бог?

³⁸ Колокола в те времена служили исключительно для оповещения, а не для услаждения слуха.

- Наш Бог Христос хочет, чтобы все любили друг друга.
- Что такое любить?
- Не делать зла. Не красть. Не убивать. Не лгать.
- Это может каждый человек. Бог должен делать то, что не может делать человек.
- Наш Христос исцеляет от болезней.
- Это хороший Бог.
- Христос воскрешает умерших.
- Это очень хороший Бог.
- Христос даёт блаженство после смерти.
- Ен тоже милует всех.
- Кто не с Христом, тот будет вечно мучиться.
- Наш Ен не такой сердитый...

Когда на все вопросы высшего сознания были получены ответы, разговор спустился на землю.

- Паства у нас пока невелика, – сказал отец Паисий. – Всего три человека.³⁹
- О! Иван! Иван! – понимающе воскликнул Ерегеб.
- Мы в твою епархию ни ногой.

Ерегеб, в свою очередь, пообещал не тревожить семейство Синца.

– Только вот что, милый человек, скажу я тебе, – продолжал отец Паисий. – Не от меня сие зависит, но скоро конец вашей воле. Царёвы слуги уже на Ваге. Настанет и ваш час дань платить. Дымовые! А кто из вас под нашего Христа пойдёт – понимаешь? – Тому будет послабление. Льгота.⁴⁰

После этих слов лицо гостя ещё продолжало лосниться от огня, а глаза уже потухли. Новость его огорчила. Чтобы подсластить, отец Паисий добавил:

– А кто будет у меня русский язык учить, того потом старшиной назначат. Посылай своих сыновей ко мне учиться русскому языку – старшинами станут.

Согласно-понятливые кивки Ерегеба стали переходить в горестные покачивания всем туловищем.

Беседа шла ровно, приятно. Но Ерегеб засобирился домой.

У входа в пещеру рыжая якутка, подобно оленю, разгребала копытом снег и ела всё, на что ложилась губа.

Якутка – не учёная ни кнутом, ни вицей: шерсть в два пальца толщиной, разве что батогом проймёшь. На любом морозе только куржесевеет. И бойко, всеми четырьмя лопатками копыт может разгребать глубокий снег до травы – самостоятельна круглый год. Задолго до появления человека в северных лесах вольно паслись вместе со стадами оленей и табуны таких лошадей. Пришедшие угорцы сначала охотились на них как на мамонтов. Потом живое мясо стало выгоднее убоины: что три оленя тащили в упряжке, то одна лошадь. Арканом отлавливали, пытались приручить. Но зимой вынуждены были отпускать на кормление в табуны. И вся наука шла не впрок.

Славянам удалось подкупить свободолюбивую якутку. Невыгодно ей стало сбегать в табун от ежедневного навильника душистого сена. За такую кормёжку можно и в упряжи походить.

³⁹ Харом ембер.

⁴⁰ Кедмес.

48

Дьякон подтянул подпруги и с почётом отвёз старшину до его землянки.

Вернулся затемно. Застал лошадку в пещере. Подальше от волков.

Придётся жить со скотиной под одной крышей, пока не построят конюшню.

Улеглись почивать. Перед сном сошлись на том, что в проповеди среди угорцев надо опираться на чудеса Христовы.

И дьякон Петр по памяти стал читать из Евангелия:

– ...Был там человек, имеющий сухую руку. Он говорит человеку: протяни руку свою.

И стала она здорова как другая...

Отец Паисий продолжил:

– И один из них ударил раба мечом и отсёк правое ухо. Тогда Он сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха, исцелил его...

– ... Встав, запретил ветру и морю. И сделалась великая тишина!

Великая тишина стояла и в угорских лесах. Не настолько ещё было морозно, чтобы трещать деревьям. И волки ещё не так оголодали, чтобы выть. Шумно в стылом воздухе пролетит филин-пугач, сядет на ветку, крикнет с расстановкой раза три. И опять только звон в ушах от тока крови.

49

...Прорубь Синец высек топором ещё в зыбких заберегах. Не прорубь – майну. И всё-таки уже к январю до невозможности сузилось отверстие обливным льдом. Едва протолкнёшь к воде деревянную бадью. Много ли расширишь ребристым камнем. А топор Синец берёт. Выскользнет, ляжет на дно – жди лета, ныряй, чтобы опять завладеть орудием. Даже точил топор Синец крайне редко. Но как не экономил, а стальная лопасть неуклонно сужалась, лезвие приближалось к проушине.

Деревья в обжиге закаменели. Не больше двух-трёх лесин в день превращал Синец с помощью топора в брёвна для избяного сруба.

В перерывах вместо отдыха выжигал пни.

Обкладывал хворостом, закидывал сучьями. Пни истаивали в пекле, сравнивались с землёй.

В морозы – с огоньком – работа благодатная.

А по вечерам, с устатку, возле печки с долотом в руке одно удовольствие строить ткацкий стан: вертикальную раму на устойчивых плахах-лапах.

50

В бане у Фимки с лета была заготовлена конопля и татарник. Волокна этих трав годились для пряжи. Если вымочить их в корыте. Потом высушить. Истрепать (ребром доски по бревну). Вычесать (прутьями, сплетёнными в виде гребня). Спрясть (прялка – две доски углом, веретено – остроконечная тросточка).

И потом вперемежку с нитью из козьего меха связать ребёнку пару тёплых носочков (спицы – заострённые еловые прутики).

А из гольной пряжи выделать холстину.

51

В ткацкой раме главное – челнок. Над ним Синец трудился не один день. Извёл множество осиновых плашек. Лопались, как только начинал выдалбливать в них внутреннее мотовильце.

Горячился. Расшвыривал поломки по углам. Потом нашёлся: вырезал выемки в двух половинках отдельно и склеил расплавленной сосновой смолой.

К тому времени Фимка напярля с десятков клубков.

Раму установила в изножье лежанки так, что вертикальные нити основы рассекали свет печного устья. И стала попеременно змейкой справа и слева пропускать сквозь основу челнок.⁴¹

Поперечной планкой подбивала, уплотняла рядно.

За вечер наткала полосу, достаточную, чтобы сшить рукав рубахи.

52

В землянке зимой было теплее, чем осенью. Жилище завалено снегом. Со стороны, с высоты птичьего полёта, не сразу и признаешь человеческую обитель.

Только закопчённый дымник чернеет.

И хорошо, что двери не на петлях, а приставные. Утром после метели ударом плеча выдавливал их наружу Синец. Затем подпруживал колом снизу, поднимал. А уж стену снега пробить не составляло труда.

53

Печь покосилась, растрескалась, но грела исправно.

В долгие зимние вечера на обоих жильцах была лишь лёгкая ветошь. И ребёнок в коробе сучил голыми ножками.

Трещали в печи дрова. Дым стлался под потолком, как туман-перевёртыш.

Фимка постукивала поперечиной в своём станке.

Кряхтел, гугнил мальчик, накормленный материнским молоком и жвачкой – изо рта в рот.

Синец стучал деревянным молотком по рукояти долота.

Дошла очередь – приступил-таки мужик к заветному – постройке колеса.

⁴¹ Так до недавнего времени штопали носки.



Не до спиц, не до ступиц, не до ободьев с железной шиной – сделать бы для начала трёх-
частное.

Вытёсывал доски. Сшивал их шипами торец в торец. И по кругу обрубал топором.

О чём только не переговорено было в трудах за часы вынужденного зимнего затворничества: о появившихся на Суланде попах. О козе, готовой окотиться. О прочности угорских торбасов – в них Синец с третьего на четвёртый день ходил петли ставить и на зайцев, и на куропаток, а ни одного шва не расползлось.

О Кошуте говорили, о его жене.

Слышал Синец, наведываясь к Ерегебу за кресалом для огнива, что у них двое детей померло.

С тревогой поглядывали на своего первенца. И говорили, что к следующей осени, по всему видно, ожидать второго.

Вспоминали родителей – как они там в своей Новгородчине? Товарищей молодости, подруг вспоминали. Разные смешные случаи из прежней жизни в новгородских пределах.

Зергеля вспоминали.

И Синец рассуждал о том, что коли приходившие к угорцам волхвы с Печоры не смогли наколдовать нового страшили, то спокойнее будет ходить по лесам.

А сколько песен перепели за зиму. Фимка затягивала:

Ой, овсень, бай, овсень!
Ходил овсень по светлым вечерам.
Искал овсень да Иванов двор.
У Ивана на дворе три терема стоят.
Первый терем – светел месяц.
Второй терем – красно солнце.
Третий терем – яркая звезда.
Светел месяц – то Иван-хозяин.
Красно солнце – то хозяйюшка его.
Ярка звездочка – его сынок.

Плясовую напевал Синец. В такт стучал киянкой:

Уж дай нам Бог,
Зароди нам Бог,
Чтобы рожь родилась,
Сама в гумно валилась.
Из колоса – осьмина,
Из полузерна – пирог
С топорище долины,
С рукавицу ширины.

На ночь дымник закладывали плотно подогнанным к отверстию конусным брусом. И почитай каждую ночь, если не срывал с настроя младенец в корзине, творили любодееяние.

Часто подтапливали баньку. Чистили в загородке козье место. Навозом мечтали утучнить грядку, расстараться семенами и весной насадить репы...

54

После встречи с попами на угорском празднике Синец стал наносить метки на стене. Седьмую по счету – крестиком.

Воскресенье.

Воткнул посреди двора кол. Следил, как с каждым днём удлинялась его тень. Помечал в снегу прутиками.

Скоро тень перестала расти. И по количеству зарубок на стене тоже получалось, что Коляда пришла.

Синец занырнул в землянку к Фимке, выкрикивая:

Кишки и ножки в печи сидели,
В печи сидели, на нас глядели.
На нас глядели – на стол хотели.
Скажите, прикажите —
Винца стаканчик поднесите.
Пришла Коляда
Вперёд Рождества,
Вперёд Масленицы.

Винцо не винцо, а медовуху Синец к празднику сготовил. Раскалёнными камнями накипятил воду в банной колоде. Несколько сот дикого мёда туда. Мерку хлебной закваски.

В бане три дня кряду поддерживал тепло. И в один из вечеров принёс в землянку хмельного напитка полную чашу, выдолбленную из березового нароста – капа.

Весь вечер пили медовуху. Закусывали пирогом с зайчатиной.

Пьяный Синец на четвереньках выбирался из жилища и, опираясь на календарный кол, орал в небо озорные песни.

55

Зима заканчивалась. Однажды утром выдернул Синец дымник, а на него с крыши ручьём полилась талая вода.

Даже ночью не подморозило.

Снег набряк. В лаптях чавкало. Порты стали вечно мокрые до паха.

На вытоптанном пригорке земля открылась раньше всего.

Тут и собрал-сколотил Синец тележку.

Фимку посадил, покатал да и опружил.

Масленица! Веселись, народ!

На проталину Фимка вынесла ребёнка в меховом кукле.

Выпустила козу с тремя козлятами.

Теперь, в самую голодную пору, спасались её молочком. А козлятам – одонки.

Однажды услышали со стороны Суланды колокольный звон.

Неужели до Пасхи дожили!

56

На Троицу сговорился Синец с отцом Паисием крестить парнишку.

Переправились через бурную реку на плоту.

По тропинке, в виду землянки Кошута, прошли напоказ нарядные – Синец в новой домотканной рубахе.

Чёрные крестики на воротах.⁴²

⁴² Вышивная нить красилась в ольховом отваре.

Для Фимки пряжи хватило только на кису – накидку через плечо. Зато поясok на кисе был жёлтым. Не один день пролежал замоченным вместе с ранними цветками сурепки.

В становище угорцев поклонились они Ерегебу у кузницы. Улыбались всем встречным чужеродцам.

Подошли под благословение отца Паисия.

Стали решать, как соблюсти обряд.

В восприемники назначили дьякона. А за отсутствием православных женского пола призывали в крестные матери саму Богородицу.

В пещере Белой горы (Фехермюль) перед складным алтарём окунули мальчика Никифора в серебряную чашу. Выстригли на его головке волосы крестиком. На шею повесили крестик деревянный.

Родители расплатились хлебом и белорыбицей, пойманной в запруде на отливке большой воды.

По поводу первого крещёного ударили попы в колокол.

Звонник висел у входа внутри тагана из трех жердей: с такого воздушного, прозрачного и призрачного храма начинали попы.

За зиму для капитальной церкви очистили миссионеры от леса поляну за рекой на самом высоком месте в округе.

И уже связали там окладной шестиугольный венец из лиственницы.

57

На молодой траве козлиное семейство стало набирать вес – а людей голод глодал.

Смалывали зерна не больше горсти в день.

Взрослые выживали на охотничей удаче – на перелётной птице, на рыбе. Ребёнок – на молоке, как четвёртый козлёнок.

Мотыжили чищенину на пару с Фимкой.

Посеяли последнее. Теперь до нового урожая крошки хлеба не видать. Так оголодали, что решили одного козлёнка зарезать.

И уже на следующий день на подъёме сил от свеженины Синец проволоком самодельную тележку, где катом, где таском, меж деревьев, по кустам до рудного болота.

Когда ещё, если не в междупарье, заняться добычей железа.

Тележку Синец нагружал жижей с болотного дна. Тащил воз к реке, попутно вырубая молодняк.

Так была проложена первая колея в этих местах, первая тропа и дорога.

Отсюда пошёл и первый езжалый путь – просёлок, в стороне от которого, в бочажинах, и сейчас мерцает ржавчина.

58

Да, сначала была тропа...

Тропяной, однопутной была и вся первая историческая эпоха обживания этих мест – только звериные путики пронизывали первозданные леса.

Потом стёжки эти уплотнялись человеческими стопами.

Далее, хоть и на коне верхом, но тоже в один ряд.

С большим разрывом наступила эпоха трёхпутная.

Сразу три канавки стали прорезать заросли. По крайним тащились полозья, катились колеса, среднюю выдавливали копыта.

Это была эпоха расцвета, и длилась она на Земле тысячи лет.

В благодатные времена основал деревню Синец.

Пребывал весь свой век в блаженном неведении о том, что когда-то грянут времена двухпутно-распутные.

Как смерч пронесутся грузовики, тракторы и по его деревне Синцовской. Растолкут, размелют, размочалят устои жизни. После чего снова покроют селение первозданные леса.

Опять лишь дикие звери будут наминать себе дорожки в траве – на сезон. Каждый год с новыми извилинами, одноразовые.

Только муравьи выжгут до корней себе постоянные. Настроят своих египетских пирамид. А от человека уже здесь и запаха не останется.

От обледенения до обледенения будет прожита человеком жизнь в здешних местах на планете Земля.

Но пока что у Синца – первые шаги.

59

...Таскал мужик из болота тележку. У реки на холстине промывал руду. Железные крошки складывал в туес, хранил пуще золота.

Искал белую глину для тигля вблизи Белой горы.

Острым колом прокалывал дёрн. Вдавливал как можно глубже. Вытаскивал. Осматривал острие.

Нужную метку шуп принёс из оползня на берегу Суланды.

В избе, уподобившись стряпухе, Синец взбивал, месил земляное тесто, выжимал пузырьки воздуха. Иначе изделие лопнет при обжиге.

Невелику ёмкость вылепил – с кулак.

В печи эта сырая глиняная чаша сначала размякла в огне, как парафиновая, – маловато оказалось жару.

Синец принялся дуть на угли, пока в глазах не потемнело.

Когда прозрел и глянул в устье, чаша лоснилась и блестела: проняло её обжигом до фаянса.

60

В песчаном откосе Синец выкопал плавильню.

Древесного угля не занимать – кучами лежал на палине. Но чтобы жар довести до рудоплавного, лёгочного дутья оказалось мало.

Из трёх заячьих шкурок сшила ему Фимка меха. Горло вывел Синец трубкой из обожжённой глины.

Начал раздувать в полдень и до полночи не отходил. Фимка за подручного была у металлурга. Подкидывала углей в домну.

И посреди белой ночи, запустив в очередной раз долото в тигель, не почувствовал Синец сопротивления. Не звякнуло об окатыши. Будто в воду вошло.

По боку меха!

Деревянными щипцами, смоченными в реке, Синец зажал тигель, вынул из огня и поочерёдно слил плавь в фигурные ямки на сыром, утоптанном песке.

Две маленькие лужицы жидкого железа ядовито мерцали под звёздами. Металл тускнел, как глаза умирающего.

Произошло во владениях Синца второе чудо после хлебной выпечки. Из зыби земной, из праха образовались слитки.

Почувств срок, Синец подкопнул слитки лопатой и вместе с песком отнёс в реку – закаляться.

Немного попузырилась над ними вода, и вот уже рыба мелочь с любопытством тычется в них, исследует.

Самая солёная соль земли остывала в водах Пуи – металл!

61

На ладонях покачивал Синец отливки, будто своих новорождённых.

Улёгся с ними спать, как ребёнок с любимыми игрушками.

А утром опять у него жернов между ног. Надо обдирать окалину и шлифовать.

Теперь мельничный камень – как наждак.

И настал час, когда в специально оставленный для этого на палине пень Синец торжественно вбил самодельную наковаленку.

И её родным братцем, молотком, начал плющить на ней, оттягивать лезвие косы.

Завтра – сенокос!

62

Поднялись по берегам осока и пырей.

В березняке зацвели чистотел с цикорием.

Белопенная сныть разрослась в тенистых ольховых зарослях.

Под осинами – ромашки и одуванчики.

Никак опять лето пришло!

– Фимка, а ведь год минул, как мы тут! Помнишь?

– Много помнится, да не воротится.

– Да. Пролетела стрела – не догонишь.

– Кинь бобами – что будет с нами...

Во время этой переклички Фимка варила похлебку из сушёных щучьих хвостов и голов.

Маленький Никифор в рубашке ползал по мураве.

На ядрёный запах хлеба прилетела ворона.

Синец нырнул в землянку, выскочил с орудием – луком. Пустил в ворону стрелу. Не о добыче думал.

Ворона – к смерти. А тут только жить начали.

63

Прошло двадцать лет...

Хвост у Куклы волочился по земле. Гривой можно два раза шею обернуть. Каурая, ходкая, упористая, молотила лошадка мохнатыми ногами по первой пороше. Тащила в ярме волокушу.

Управлял, на коленках, молодой парень в жупане. Спиной к нему сидел старик в негнущемся медвежьей коже, будто в колоколе.

– Давай, Кукла, шевелись! – понукал возница.

– Не водой несёт, – ворчал старый.

Не узнать было в нем Синца. Дыхание с просвистом. Комковатая седая борода. Брови обвисшими козырьками, так что не видать и глаз выжиги.

Дорога петляла по тропе, натопанной ещё когда-то ярим первопроходцем Синцом.

А вот на Ржавом болоте перемены были заметны. Много лет назад открыл здесь рудную добычу Синец, с тех пор неутомимо совершенствовал. И теперь на трясине плот зыбился. На нём меж двух столбов – ворот с крестовыми рукоятями. А на берегу – выдолбленная колода с четырьмя колёсами-дисками.

Давно не пользовался Синец берестяным черпаком. Рычагами поднималось теперь сырьё из болота. Гужевым транспортом доставлялось к доменной печи...

Они выехали на гору, откуда во всей красе виднелась эта Домна Петровна, как по-родственному кликал её Синец. Глиняная баба была совсем как огромный самовар, только вместо воды в неё засыпались окатыши из болота.

А избушка Синца, с одним оконцем в передке, стояла в отдалении от столь опасной, время от времени раскаляемой, огнём дышащей, искрящейся бабищи. Теперь, на зиму, в окно избушки была вставлена рама с промасленным холстом.

У новенького амбара – домика на куриных ножках (чтобы мыши из-под земли не взлезли) – опорные столбики вкруговую были подрублены юбочками вниз.

Вокруг построек шагов на тридцать ни деревца, ни кусточка – голо. Иначе от гнуса житья не будет.

Да и далее от избы во все стороны широкими кривыми просеками – полянки, полянки...

Словно карающая небесная десница прошла – вырубил себе Синец пространство для жизни, преобразил пуйскую долину согласно собственной воле.

И на том выдохся.

Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. Сонное, одутловатое.

Ещё весной сшил он себе «деревянный тулуп».

Да выходило так, что скрипучее дерево живуче.

64

А лицо возницы – сына его Никифора – светилось как фаянсовая глазурь на закатном солнце. Брови и усы были словно угольком подведены. В глазах молодая нега.

Обличьем парень пошел в мать: по её же словам, чем носовитей, тем красовитей.

Сколько железных отливок произвёл Синец за свой век – и для себя, и на продажу. А отлить собственную курносую копию из костей и мяса Бог не дал.

...На ухабе Синец застонал, заохал.

– Потерпи, тата. Немного осталось.

– Болят кости, так неча в гости, – перечил Синец.

– Сваты – не гости, а братья.

Справа в лесу осталась Святая роца угорцев и капище с пирамидками камней.

Проехали мимо рядов вешал с осиновыми вениками.

– Тпр-ру, Кукла!

Вытащили из ярма притыку, пустили якутку на подножно-подснежный корм.

65

– Киванок напот!⁴³ – крикнул Никифор.

Полог землянки откинулся. Вышел Кошут в нагольной шубейке, в драных полуспущенных торбасах. Лохматый, на голове словно воронье гнездо. А морщинистое лицо – чисто: от бороды в старости совсем ничего не осталось.

⁴³ Добрый день.

Некоторое время истуканами стояли друг перед другом.

Синец знал: среди угорцев не принято кланяться.

– У вас товар, у нас купец. Или, значит, титек ару – минек вело, – произнес Синец.

За двадцать лет он нахватался угорских слов. Но ни разу не слышал, чтобы хоть одно русское вымолвил Кошут. Всё понимал безбородый, а не отзывался.

– Белеп.⁴⁴

Землянка Кошута была раздвоена. В женском прирубе тоже оконце имелось. Там за занавеской слышался сдавленный смех, панический девичий шёпот.

Уселись на шкуры – гости напротив Кошута и его старшего сына Габора.

Синец выставил перед хозяином туес с брагой.

– Кер меги Енех.⁴⁵

У Тутты опали руки. Она заскулила.

Кошут прикрикнул. Отпил краем из туеса. Позвал невесту на показ. Девушка вышла из-за занавески. Потупила взор.

На ней был сарафан на коротких лямках, вышитый по корсету хвостатыми крестиками. Подол оторочен мехом. А на голове – обруч из бересты⁴⁶.

С появлением невесты Никифор солнечно просветлел изнутри. И у старого Синца будто боли в пояснице отпустили.

А вот Кошут с сыном сделались ещё более мрачными.

Обряд был им не по нраву. Сам Кошут, по угорскому обычаю, когда-то выкрал Тутту из родительского гнезда, заплатил за неё выкуп⁴⁷. И нынче ему опять в расход входить, собирать дочери приданое.

Надежда на Габора.

Коли, в противоход, парень женится на Марье – дочери Синца, по славянскому обычаю, то убыток восполнится. Славянка придет в дом угорца не с пустыми руками.

– Те киван?⁴⁸ – спросил Кошут.

– Иген⁴⁹, – тихо молвила девушка.

Послышались сдавленные рыдания.

Это уже Синец тряс плечами и утирал слёзы умиления.

– Хорошая девка! Была Енех – у нас Енькой станет.

66

«Сговорёнку» окурили тлеющими ветками можжевельника. Мать пела-приговаривала:

Вокруг дома вырастала трава.

Кто траву стоптал?

Приходили сваты

Просили приданого.

Оленя рогатого,

Белоногую важенку.

Нам не жаль приданого —

⁴⁴ Входите.

⁴⁵ Просим Енех замуж.

⁴⁶ Юрка.

⁴⁷ Кифиз.

⁴⁸ Ты согласна?

⁴⁹ Да.

Жаль милую дочь.
(Сайнал кедве ланья.)

Мать накрыла невесту платком, чтобы не сглазили, и толкнула за занавеску.

А потом тем же решительным движением, одним бойцовским замахом пронзила еловым колом тушку зайца и устроила её над углями.

Переговаривалась с Синцом, вела обряд хваления вместо молчаливого супруга.

– Наша Енех сама себе кухлянку сшила⁵⁰.

– Никифор парень рукастый. Зимой лесу наготовил. Срубил отдельное жилище.

– Сама из ровдуги сшила сарафан⁵¹.

– Все песчаные отмели вокруг выкосил. А за лопухом и овсяница пойдёт. За ней пырей.

А там и заливной лужок нашим будет. Ходовой он. Этого у Никифора не отнимешь.

– Сеть сплела в шесть локтей⁵².

– Трубу выведет. Молодые по-белому жить станут.

Оба говорили на своём языке, но как-то понимали.

67

На третьем хмельном-бражном круге Синец уже так разлетелся, что начал разбирать степени родства.

Ударил Кошута по плечу, а себя в грудь.

– Сваты!

Ткнул пальцем в Габора, а затем в Никифора.

– Шурин!

– Зябун, – перевела Тутта.

– А наша Марья будет вашей Еньке золовкой.

– Курма, курма! – соглашалась Тутта на свой манер.

Покончив с зайцем и брагой, Синец с Кошуттом встали под матицу, примерились головами к центру и ударили по рукам.

Тутта опять заскулила.

Синец с блестящей от жира бородой норовил обнять Кошута. Безусый угорец дичился такой порывистости, отклонялся, будто у него за спиной тетива натягивалась.

Выбрались из землянки. Лошади не видать.

С пучком горящего хвороста Никифор углубился в ночной лес. Скоро приволок якутку за чёлку. Накинул на шею ярмо, заткнул притыкой. Обротал. Разобрал вожжи.

– Садись, тата!

Пьяненький Синец повалился на волокушу и заголосил:

Мы все песни перепели,
У нас горло пересохло.
Князьёва пива не пивали.
Княгинины дары видали.
У княгини дары – миткалины.
Князьёво пиво – облива:
На собаку льёшь – облезает шкура...

⁵⁰ Жабот.

⁵¹ Руха.

⁵² Хат кёнёк.

С горки Кукла разбежалась. Боковины волокуши бились о стволы узкой дороги. Углы ярма цеплялись за ветки, сшибали последние сухие листья.

Рысцей по морозцу, по первому снегу с причитаниями о том, что надо бы кобылу ковать, да сил нет. С наказом сыну раздувать назавтра горн да приниматься за подковы по отцовскому наущению.

Под звездами Земли обетованной...

68

После свадьбы Синец слёг. Сначала оправлялся на дворе. Когда совсем скрутило, – не слезая с печи, – в посудину.

Если у Фимки не хватало порыва на обиход больного, то помогала молодница. Не гнушалась человеческих отходов.

Синец слёзно умилялся невесткой, не переставал нахваливать.

Болел он «спиной и ногами». Тогда говорили – маялся, недужил, немог. Слово «больсть» – лешацкого корня, в нём сила сторонняя, недобрая.

Фимка лечила мужа хвощением – мяла и растирала.

Он отбивался. Ёрничал.

– Ну-ка, Енюшка, неси полоз от волокуши, – обращался он к невестке. – Пускай матка сварит его да приложит к моим ногам. Быстрее Куклы побегу. Или, эй, ты, Никифор, возьми бурав, голову мою продырявь, мозгу немного вынь. Помажь тем мозгом ноги – Кукле будет не догнать.

Криком кричал. Угорали по ночам от его стонов. А когда отпускало, опять веселил домо-чадцев:

– Вот тебе ещё средство, Фимка. Возьми щепоть шороху ночного да топоту овечьего две горсти. Туда посыпь немного тележного скрипу. Дай мне всё это выпить да выставь меня потеть на мороз. Потом вытри сухим сосновым платом в четверть. От того плату теснота отыдет и буду здоров!..

69

Отец при смерти, а Никифор молодой блажью воспылал: под порогом верфь разложил – начал собирать лодку из листов бересты.

Ещё весной сплёл ивовый остов и теперь обшивал пластами берёзовой коры. Нитью служили распаренные еловые корни.

На носу и хвосте береста трескалась, расползалась. Требовалась склейка из тонких полос.

Никифор плавил в печи липкую смолу-живицу.

Пахло скипидаром.

Синец сверху возражал:

– Баловство, сынок. Перевернёшься на стремнине – поминай как звали. Чем тебе плот плох? Либо уж долблёнку бы заводил. Твоей берестянкой только от дождя укрываться.

Но Никифор твёрдо решил «гуся добыть».

Весной в половодье за неодолимой ширию пуйского разлива у перелётных гусей был ежегодный отдых.

Только лёжа в самой лёгкой, незаметной посудине можно было приплавиться к ним на расстояние стрелы.

– Мы с матерью без гуся жизнь прожили. Три утки – вот тебе и гусь, – ворчал Синец.

Болезнь лишила его власти. За словом не следовало дело – парень гнул своё.

Обрастала плотью берестянка. Оставались старику общие рассуждения на предмет послушных баб.

– Вот смотрю я на тебя, Енюшка, и думаю: через жёнок происходит слияние народов. Ты молодка угорская. Наш Никифор из славян. Значит, детки у вас будут половинчатые. Мать научит своему языку, отец – своему. Двужычны детки будут. И станут молиться через день, – то на крест, то на пень. Двоеверие утвердится во веки веков. Попробуют расщепить – получится топором по темечку. Новый народ станет зыбкий душой, увёртливый. Не зацепишь его ни другом, ни крюком. Обособеет. От всякого нажима, как пробка от браги, – в небеса. Ищи ветра в поле. А дай ему волю – своей правдой поперхнётся. Подавится. А как зваться станет?

– Да мы же русские, тата!

– Русским ты будешь, когда тебя воевода за шкуру возьмёт. Стрелец на постой станет. А до тех пор ты Ника, и звать тебя Никак.

– Человеце! Какого ещё званья мне нужно?

– Это доколь молодой да задорный. А вот как завалит тебя лихомань, почувешь смертный конец – захочешь думы в кольцо свести, а не тут-то было!

– Попы говорят, тата, из глины, мол, человек вышел, в глину и уйдёт. А душа, тата, была, есть и будет.

– Так ведь этой глины-то и жаль, сынок! Сколько ею нароблено! Нахожено! Пито и пето! Кринка разобьётся – и то бабе горе. А тут эка дивна посудина снова жидкой глиной станет!

Непосильные измышления закончились у Синца так:

– Из глины осинка вырастет. Долблёнка из неё выйдет добрая. Лягу в лодку, оттолкнувшись от берега – на волю поплыву...

70

Пришёл шаман Ерегеб – давний друг Синца по кузнечному делу. Велел остричь ноготь с ноги больного. Закатал обрезаек в хлебный мякиш и дал съесть козлёнку.

Не только никаких смешков не позволял Синец по поводу целительного обряда, но всему внимал беспокойно и остро.

Без слов позволил перепоясать себя арканом – другой конец Ерегеб петлей затянул на шее козлёнка.

Шаман выволок животное из избы и зарезал.

Кровь вместе с хворью спустил в землю.

Тут только сказала природная насмешливость болящего.

Синец вымолвил:

– Коли не поможет, так будет чем меня помянуть.

Шаман вошёл в избу и ударил в бубен. Кожа в обруче, подсыхая на печи, пока он священнодействовал, расталкивала застойный воздух, отрясала хворь.

От гортанного вопля шамана, казалось, должны были подохнуть во всех щелях сверчки и тараканы.

Шаман метался из угла в угол избы и пронзительно взывал к богу Ен:

Падаю ничком – поддержи!

Полетел навзничь – подопри.

Окривел – дай глаз.

Заикаюсь – подари язык...

(Дадог – ян деген...)

Неожиданно шаман отбросил бубен и кинулся к Синцу.

Растопыренными клешнями рук схватил больного, стал трясти.
«Извлёк» из его груди злого духа Омоля.

Дух сопротивлялся, торговался, требовал жертвы.

– Меги ки! Этэль!⁵³

Зажал Омоля в горстях и выкинул в распахнутые двери, в сторону окровавленной тушки козлёнка.

Устало сел на шкуру, угодливо подстеленную Фимкой, и раскурил трубочку.

– Как будто полегчало, – донеслось с печки. – Спаси тебя Господь.

Некоторое время Синец поговорил с Ерегебом как с товарищем. На прощание у него хватило сил даже рукой ему помахать.

Но той же ночью он помер с тихим стоном.

71

На земляном полу, где вчера сшивалась лодка-берестянка, стоял гроб: покойник заранее приготовил себе «раздвой» на загляденье – без единого гвоздя. Ни щёлочки.

Под гробом бабы настлали соломы.

Никифор с Енькой (сын с невесткой) надели рукавицы (голыми руками к окочуру прикасаться нельзя), спустили тело с печи.

Из бани на палке принесли ушат тёплой воды. Стянули с усопшего истлевшее исподнее, обнажили «тату», обмыли в трёх водах.

Сверху лилась на покойника вода живая, а сквозь солому просачивалась уже мёртвая. По жёлобу текла к порогу, в приямок. Оттуда её вычерпывала младшая дочь Марья и носила в бадейке далеко по снежной тропе, выливала на склон Межевого оврага, в непроходимый кустарник. Чтобы никто ногой не ступил на политое. Иначе не жилец.

(А черпак и бадейку потом они сожгли.)

Остаток дня Фимка готовила мужу погребальное. На живую нитку шила длинную рубаху.

Теперь уже они с Енькой, не чураясь, ворочили мёртвое тело, напяливали белые одежды.

У Никифора была своя забота. Сын плёл отцу лапти в долгую дорогу.

Когда Никифор обернул худые мослы отца оборами и принялся обвязывать онучами, мать всполошилась:

– Не так! Не так! Крестик-то впереди оставляй!

То есть чтобы перекрут верёвочек оказался на виду: каким-то чудом из времён девичества в далёкой, почти забытой новгородской деревне, вынесла память Фимки-Евфимьи это правило.

Чистого, ухоженного покойника перевалили в домовину.

Мокрую, из-под него, солому сожгли в печи.

А оставшийся на полу сор замели, как положено, – под гроб.

72

Молодые – Никифор, Енька, Марья – ночевали в бане.

Только Фимка-жена пожелала остаться с навек замолкнувшим мужем.

Сквозь промасленное оконце светила луна. Желтели углы гроба. Голубым отдавал саван на покойном. А лицо его лунный свет как бы обтекал, ничего знакомого нельзя было различить там, где должно быть лицо, – ни морщинки, ни волоска седого.

⁵³ Пошёл вон! Жри!

Фимка глядела туда и горевала. Нет пары!

Сорок лет – бабий век. За ним вторая жизнь. И ещё целый век – бабкин.

Но без мужа – ущербный.

Плакать даже не помыслила, чай, не малое дитя.

Песен из славянского девичества помнила много, а цельных причитаний на слуху не отложилось. И набраться было негде. Здесь, в угорской лесной пустыне, и простым славянским словом не с кем было перемолвиться, не то чтобы учиться обрядным причетам.

Обрывки какие-то вышёптывались.

«Закатилось красно солнышко... Последний тебе денёчек... Куда ты от нас собираешься?... Улетишь далеко в поднебесье...»

Погоревала. Вздremнула. А чуть рассвело, снялась – печь топить, ставить поминальный замес.

73

Это были шестые похороны на новом погосте.

Череда была такая. От родимца, в судорогах и в задышливом, до посинения, крике, помер второй после Никифора сын Синца – даже имени не успели дать.

Подобно упругому мячику упал на землю, отскочил, отлетел обратно в вечность.

Первая могилка!

Следующий плод Фимкин помер уже с именем – во второй ямке лежал мальчик, ошпаренный кипятком. Степан. Четырёх лет от роду.

И голод, конечно, подбирал детей.

Только поспела кислица⁵⁴, убрели, взявшись за руки, двойняшки Синцовы – брат с сестрой, Николай с Еленой, в приречные кусты и объелись там неспелыми ягодами. Так, рядышком, едва ли что не за руки взявшись, и легли пятилетние в землю.

А подросток Еремей помер от кровохарканья.

...Дети клались в могилы попросту.

Отец Паисий не затевал полной службы.

Короткая панихида в храме, и гробик опускался в землю под 122 псалом: «К Тебе, живущий на небесах, возвожу очи безгрешных! Помилуй их! Ибо не насыщены презрением Твоим».

Дощечки домовин усеивались горстями песка.

Рытвины сравнивались с землёй.

Обозначались на поверхности сосновыми крестиками.

Так, под звон «била», под гул «клепала», с пением отца Паисия утучнялась угорская земля плотью славян.

Через смерть и тление переводилась понемногу в законное их владение.

74

Внутри Христова ковчега-церкви, на каноне, в ящике с песком, горела свеча, слепленная из воска диких пчёл.

Под иконой Святой Троицы трепетал в клещевинном масле огонёк лампадки грубоватого глиняного обжига.

Поминальный обряд по первому, настоящему, полноценному православному покойнику на этой земле во всю литью раскатывал отец Паисий. На нём из положенных по уставу белых

⁵⁴ Красная смородина.

панихидных одежд было одно лишь шерстяное полотенце, сотканное Фимкой в дар храму, осветлённое в козьей моче и вышитое крестиками по краям. Отец Паисий стоял у аналоя спиной к открытому гробу, водружённому на катафалк из жердей.

Слышались слова упокоения из 90 псалма: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится!»

Храмовый корабль под двумя крестами обдувался прохватным ветерком. Подобно матросскому воротнику развевалась занавеска на клобуке у дьякона Петра, ползущего по приставной лестнице к колоколам.

– И прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое, – доносилось из открытых дверей храма. – Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь!

К этому мигу дьякон Пётр утвердился на досках звонницы, и стальной колотушкой долбанул по дуге била. Послал начальное известие всей языческой округе. Заносчивым взглядом проводил звук окрест, шепча: «Воззовёт к вам, и услышите Его».

Вдгонку горестному всхлипу литого била полетел с холма утробный навет клёпаного «тевтонца».

И приговор у дьякона был соответственным: «Оружием обыдет вас истина Его!»

75

Помимо отпевания заодно отслужили по Синцу и отдельный молебен – во славу безвозмездной помощи усопшего при строительстве «корабля» Христова.

Хотя не прост был покойник. Расчётлив.

С поклонами, с молитвенными присловьями помогал рубить церковь, но в ответ ждал от святых отцов привилегий.

Говаривал Фимке в укромной ночи: «Через попов наше володение придёт над угорцами. Вдобавок к нам приплывут православные. А там отцы святые и стрельцов запросят, в случае чего. А то в последнее время что-то забеспокоились безбородые...»

Сыну Никифору наказывал Синец плотнее сходиться с попами, угождать и помогать, с горечью отмечая, что парень холоден к вере Христовой.

Через свою зазнобу Никифор многое в душеустройстве перенял от местного племени. Словно чужой стал – двойчатый.

Хотя и сам Синец «Отче наш» не твёрдо знал. И постоянно терял нательные крестики. И знамение не каждое утро творил. Но у края земной жизни, в гробу на его лице будто бы обозначилась твёрдая истина и застыл укор сыну.

И как стали заколачивать гроб, так словно волной толкнуло в грудь Никифора – уж не досада ли татушкина?

Часть II

Исход

Никифор (Двоич) (1471–1525)

Происки государства

1

После ледохода Пуя наполнилась мрачной силой.

Будто плотиной подпёртая противоположным крутым берегом, прихлынула волной к завалинке.

Просочилась в избу по колено.

Из-под крыши от зимней скученности выгнала людей – на простор. Повыше, на полянку.

Там, у домницы, устроилось всё семейство.

Ночью звёзд было не видать – столь много оставалось дневного свету, потому хорошо спалось у огня лишь детям – трём мальчикам, семи, трёх и одного годов, завернутым в шкуры. Да с ними – бабушке Евфимье.

А Никифор с Енькой-Енох плели верёвку для вожжей из пеньки и лыка.

На одном конце Никифор крутил деревянный просак, а на другом Енька, внатяг, ссучивала конопляные волокна и пускала между ними лыковое.

– Давай, что ли, сказку скажи, Еня.

– Так ведь я их только по-своему знаю.

– Эка беда. Говори.

Енех негромко начала:

– Егишер Бенце кимеги ен тенге парт...⁵⁵

2

В сказке говорилось, как угорский парень по имени Бенце увидел в море нерпу. Попросил её перевезти на спине в места, богатые жиром.

Приплавил его нерпа к китовому народу.

– Здорово! Зачем приехал?

– Жиру вашего поесть хочу.

– Поел?

– Спасибо, наелся. Вот только в горле пересохло. Напоите меня⁵⁶.

– Из деревянного корыта попей.

– Эх, вы! Всё ещё без чашек живёте!⁵⁷

Подошёл Бенце к корыту, едва пить начал, как вдруг вниз головой полетел в бездну.

⁵⁵ Однажды Бенце вышел на берег моря...

⁵⁶ Ижик енгем.

⁵⁷ Эх ён! Нелькуль чеше лакик!

Упал прямо в жилище моржового народа.

Далее говорилось в сказке, побывал Бенце у всех морских пле-мён. Но особенно щедро его угощали лахтаки.

За такое гостеприимство он пообещал им сестру отдать.

Отправились лахтаки за невестой.

Прибыли в чум Бенце. Много толкуши⁵⁸ съели.

И Бенце выдал сестру замуж за лахтака.

Нырнула девушка с новыми родственниками в лахтачье царство. Слышит, жених говорит:

– Мать, огонь разводи, невестку светом встречай!

Начали девушку окуривать. Приобщили к очагу.

Лахтаций народ собрался. Рассматривают невесту.

Говорят:

– Ой, какая красивая девушка!⁵⁹

Тут и сказке конец...

Никифор засмеялся.

– А помнишь, как мы с татой-покойником в Важский городок на плоту ходили? И я эдак тоже глядел с плота в воду да и кунул. Тата меня за ногу выволок. А то бы тоже женился на лахтачке, или красноперке какой-нибудь, или на полосатой окунихе.

– Так ведь мы тогда с тобой уже сговорёны были!

– Отсюда, Еня, и спасение.

3

Больше всего поразил маленького Никифора в том плавании на плоту столб посреди площади Важского городка.

– Гли-ко, тата! Что у русичей на торжище вместо ракиты! И не тряпочки к столбу привязаны, а живой человек!

Руки у мужика были стянуты сзади, и казалось, будто несчастного этим позорным столбом насквозь пронзили.

И на площади не кружение богомольцев под бой шаманского бубна увидел Никишка (как бывало у угорцев), а кураж пьяной ватаги «хотячих», явившихся по зову воеводы Михаила Скрыби для похода на непокорную зырянскую Угру.

Босые, в обносках и рвани, вот уже который день ждали они обещанных войсковых кафтанов.

Горланили, безобразничали.

– Петро! Не верь снам! – кричали опозоренному стоянием у столба.

Хохотали бездельники.

Жалостливый Никифор упросил отца узнать, за что страдает человек.

Оказалось, он один из «хотячих» и поплатился лишь за пересказ своего сна.

Привиделось, будто святой Сергей велел ему вернуться домой, перестроить избу в три жила и тогда станет он важским воеводой!

Мужик рассказал сон товарищу.

Тот проговорился. Нашёлся доносчик.

И действующий воевода назначил простельге битьё батогами – не возвышайся хотя бы и во сне!

⁵⁸ Томег.

⁵⁹ Ой, милен шеп ланя!

– Сколько батогов получишь, Петро, столько и свечек святому подсказчику Сергию поставь, – не унимались охальники.

Рождённому среди лесов, в добрых семейных пределах, в окружении незлобивого угорского народа, всё разухабистое русское было Никифору вчуже.

По возвращении из плавания, возмущённый битьём человека палками, он ещё глубже укоренился в язычестве.

Даже камней натаскал в Ельник и устроил из них своё игрушечное капище.

Куски хлеба стал жертвовать богу Ен, глиняные игрушки, пойманных рыбёшек...

4

Схлынул потоп. Изба просохла. Пуя понемногу набирала прозрачности. Зацветали в замоинах купальницы. На лужайках облетало золото одуванчиков – оставалось серебро.

К тому времени вспахал и засеял Никифор все полянки.

И теперь с теслом в руке не отходил от осинового кряжа на берегу. Осёдлывал то справа, то слева.

Мотыжил древесину. Выбирал лишнее.

Чтобы промахом не продырявить днище или борт, насверлил снаружи дырок буравчиком. Вставлял в отверстия ольховые тычки вглубь ровно на полвершка.

Лишь откроется изнутри под теслом эта мерка-подсказка, глубже не забирай. Не прозеваешь. Ольховый тычок – он от природы красного цвета. А само осиновое тело лодки – белое.

По днищу словно веснушки разбегались...

Вокруг отца копошились в песке и стружках три мальчика. Старший, Иван, в порточках, младшие Ананий и Ласло, голозадые.

Иван уже «подпоясанный». Считай, мужик, пусть и невелик.

Ананий – сажёный на коня. После этого уж титьки мамкиной ему ручонками не загребать.

А у годовалого Ласло сегодня только «пострижины».

Семейный праздник.

5

Дети всполошились и с криками кинулись навстречу своим угорским бабке и деду.

Младший за ними, ревя, ползком.

С горки по глинистой дороге, обожжённой июльским жаром, спускались Кошут с Туттой.

Кошут в сокуе – малице из шкуры забитого в июне оленя, когда сохатый почти без шерсти. На ногах у Кошута – бокари, подвязанные у колен. На Тутте – распашной кафтан из полотна производства славянки Фимки.

В голодуху 1475 года за «отрез» дали Кошуты ей полтуши лося. На голове у Тутты – высокая валяная шапка с вышитой занавеской.

В корзинке несла бабка подарок к празднику: вязаное на спицах козье полотенце в полтора локтя.

В эту вязь обрядово состригут девять локонов мальчика. Туго обовьют крапивными стеблями и сожгут на берегу Пуи в костре!

Станут приговаривать: «Коляда Божич – слава Божичу за доброе начало, за дитё здоровое. Велесу слава за чистую кровь. Слава Ярилу за мужество. Леля, Лада! Слава вам за любовь. Купале за семейный лад. Перуну – за добычливость. Световиду – за мудрость...»

И вперемешку со славянским говором прозвучит: «Еги-кет-ха-ром-киленс»⁶⁰.

Над водой трижды произнесут этот заговор. Ножом на береговом песке очертят девять кругов.

Скажут: «Матушка Пуя, обмываешь ты крутые берега, жёлтые пески, обмой-ка ты и внука моего Ласло. Все хитки и притки, уроки и призеры, скорби и болезни, шёпоты и ломоты, злу худобу. Понеси-ка ты, матушка Пуя, быстрая река, все болести Ласло своей медвяной струёй в чистое поле, земное море за топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте, мои слова, легки и крепки в дозоре и договоре впереди, а не позади. Ключ – в море, болезнь и лихо – на дно, а язык – в рот».

После сожжения волосяных прядок пострижённый заснул под бортом долблёнки, на мягких осиновых стружках. Уморился от праздника. Да и то сказать – разбужен сегодня был слишком рано для младенца – до восхода.

Носили его Никифор с Енькой на гору, показывали на самом подъёме Ярило – Шондаг. Да потом в тёплой бане купали в настое трав строго одного рода – зверобой, спорыш, сабельник, горчак, – все цветки у них пятилепестковые.

Нечётные.

Мужские...

6

Гордый Кошут впервые после поминок Синца снизошёл до гостьбы в славянском доме. Возымело действие на непреклонного угорца имя младшего внука. Назвали Ласло, как отца Кошута, то есть прадеда. Вот и получай пришлые люди уважение от туземца.

Расселись по лавкам за стол под двумя солнцами – из волокового оконца и дымника.

В прокопчёное жилище через эти отверстия не смели соваться ни слепни, ни оводы. А бабочек дегтярный настой, наоборот, приманивал.

Красно-чёрные крапивницы порхали в серебристой пыли солнечных подпорок.

Садись живыми узорами на полотенце в опасной близости от огонька лампадки в красном углу.

Трепетали их яркие крылышки и на пучке засохших вербочек, и над заменявшим икону крестом, грубо скованным покойным Синцом.

А в застолье той порой уже шла по кругу глиняная чаша с медовухой. Ели щуку в рыбнике. Хлебали овсяный кисель.

От разговоров к песням перенесло их ветром духоподъёмным.

Тетёра на стол прилетела,
Молодушка спать захотела.
Пойдём, пойдём, Иванушка, спати,
Весеннюю ночь вдвоём коротати!..

У бабки Евфимии кровь настолько разгорячилась, что она в пляс пошла.

И до того голову потеряла, что махнула платочком перед Кошутым. И блеском глаз про-сигналила к отзыву.

Да Тутта была настороже.

Вдовьи шалости славянки отозвались ревностью суровой угорки, сухим властным шёпотом в ухо мужа:

⁶⁰ Раз-два-три-девять...

– Идѣ хаз!⁶¹

С Ефимьей они были товарками. Вместе лён теребили. Совершенствовали ткацкое дело – к концу жизни Синец уже устроил им обеим кросна с педалями, – раму повалил горизонтально. И Фимка, и Тутта уже ткали с шерстяной ниткой тёплые рубахи.

За двадцать лет та и другая научились и по-угорски, и по-славянски.

Повивальными бабками друг для дружки потрудились немало.

Да и породнились.

Но всё-таки одна меж ними преграда осталась непреодолимой, одна собственность – «мой мужик!».

Теперь-то Кошут, вишь ты, дорогу к славянке проторил! А ну как после этих песенок взбрѣдѣт в голову старому к вдовушке плотнее тропинку топтать?

– Идѣ хаз!

Домой из гостей шли они уже не по дороге на Ржавое болото, а по перелазу через Пую (козлы с поручнями) и далее – по заливному лугу, по Исаде (что означает – место высадки с корабля).

По рассказам Синца, именно здесь они с Фимкой впервые ступили на пуйскую землю.

Была песчаная отмель – стал полномерный заливной луг.

Исада.

7

– ... Ну-ка, Ласька, давай мы с тобой вверх по реке протолкаемся до того песочка.

Мальчик на носу долблѣнки истово, благодарно гребѣт крохотным веслом, только что вытесанным отцом.

Для облегчения Никифор правит в прибрежную затишь.

С писком вонзился киль лодки в мокрый песок отмели.

– Тата, отчего так вонько?

– Рыбина где-то гниѣт.

Следы босых мужских ступней, и гусиные, мальчишеские прострочивают берег.

На глади песка издали различим будто бы каменный выступ.

Или коряга?

Для валуна – слишком тускл. Для коряги – недостаточно жирен.

Никифор топором ткнул. Мягко. Хлюпко. Нестерпимо сладко шибануло в нос.

Распорхал вокруг. Звякнуло под топором. Потянул – надо же! Медный крест на привязи!

Никифор в страхе отбросил находку.

– Отец Паисий! Это его нательник!..

8

Отец Паисий пропал в начале мая.

Видели, как он с саженым сачком на плече спустился от храма к реке. Из мутной водицы пытался загresti рыбу, ослепшую от ила. Удалялся вверх по течению.

И словно в воду канул.

Ежедневно дьякон Пѣтр читал по нём молитвы о здравии. Потом через день поминал – и реже.

⁶¹ Пора домой!

И хотя дьякон не был в сан рукоположен, но, обвыкнув, самовольно вступил в должность. По своему усмотрению стал править службы.

По нахождении Никифором тела утопшего дьякон Пётр отслужил за упокой. На похоронах дружно решили, что соскользнул рыболов с глинистой кручи в глубь и запутался в рясе.

Однако квартировавший в это время в церковной пристройке мытник Пахом, перед положением тела отца Паисия во гроб, указал всем собравшимся на пролом в черепе мертвеца. И вправду, разглядели под сединами синюшную вмятину. И рубец на коже хотя был и размыт, но ясно различался.

Выходило – убийство.

А кто же враг-злодей? Кому православный поп встал костью в горле?

Ясное дело – язычник.

9

Двадцать лет отец Паисий проповедовал среди угорцев и тихим словом, и грозным проклятием.

Отчаялся донести Христово учение по-славянски. Замыслил язычникам алфавит, письменность греческого начертания.

На досках вырезал буквы. Доски заострил с одного конца и вбил недалеко от кузницы Ерегеба в прибрежный песок сплошным щитом.

Из любопытства собралось вокруг достаточно местного люда.

Закат выдался пёстрый, расписной. Будто само небо из своих перьев и клоков складывало слова, тоже хотело что-то сказать.

Отец Паисий в потрёпанной рясе, с крестом на вервяном гайтане ткнул себя в грудь.

– Ен!⁶²

Повторил вразяжку:

– Е-е-е... н-н-н.

Одновременно указывал на буквы деревянной азбуки.

Прутиком на песке ещё и рисовал их.

Для закрепления науки опять ударил себя в грудь («Ен!») и ткнул в пропись.

Угорцы угрюмо молчали. Некоторые даже отпрянули, когда отец Паисий приблизился и пальцем указал на мальчика:

– Те!⁶³

Мальчик засмеялся.

– Т-т-т... е-е-е.

То же было перерисовано с досок на песок.

– Те! – выкрикнул понятливый отрок в лицо отцу Паисию, отчего священник благодарно перекрестился.

Следующее слово первого урока было «мы». По-угорски – «ми».

Потом слово «Истен», значит – Бог.

Я... Ты... Мы... Бог...

Для первого урока достаточно.

⁶² Я.

⁶³ Ты.

10

В каждый погожий день лета открывалась школа на берегу.

Постоянно вертелся вокруг отца Паисия внук шамана – Пекка. Ещё несколько безымянных угорских мальчишек. Да бобыль Балаш. Да сын Кошута – Габор. Да тётка Водла – эта скорее из женского расположения к отцу Паисию, чем от потребности в грамоте.

Время от времени, по пути на игрища, набегали угорские парни и девки.

Бывало, к сумеркам весь берег испишут буквами и словами.

С холодами затея сникла.

А замысел продлился. По просьбе отца Паисия первый его прихожанин, ныне покойный Синец, сковал иглы в палец длиной.

Привязал их к палочкам распаренными жилами. Жилы высохли – стянули железо и дерево в единое стило – орудие грамотности, по числу учеников.

Сам отец Паисий ободрал не одну березу. Уложил кору под гнёт, чтобы расправить в лист.

И зимой, в безвременье, в безделье, к нему в келью битком набивалось учеников. Выцарапывали они иглами на бересте угорские слова и целые предложения.

Службу в церкви отец Паисий давно вёл по-угорски. А теперь, воспитав достаточно чтецов, взялся и за перевод книги Бытия.

Строка «Вначале сотворил Бог небо и землю» писалась по-угорски так: «Кэздэт теж Истен эг эс фёлд».

Первыми крещёными стали Габор, Кошут, тётка Водла и отрок Пекка.

Кроме них приходили слушать литургию и просто любопытствующие. Дивились храму, пению дьякона на клиросе и горению множества свечей, вылепленных старцем из воска диких пчёл.

11

Долина туземцев Сулгара на голубиные песнопения отца Паисия, на его азбучные дары отозвалась роптанием.

Племя почуяло угрозу духовной кабалы.

Для возбуждения самобытности решили угорцы выстроить на противоположном берегу реки Суланды, напротив православного храма, в укор и назидание отцу Паисию знатную кумирню в честь своей богини солнца Хатал Эква.

По заповедному замыслу возвели квадратный сруб-куб.

Из прежнего жертвенника в пристройке кузницы перенесли в новую кумирню священные шкуры, медные нагрудники, оленьи рога и главное – деревянного идола, вырубленного из узловатой сосны: брюхатая богиня сидит воздев к небу руки-сучья.

Переносили всем народом, с воплями и биением бубна.

Духом соперничества прониклись. Потребовали, чтобы Ерегеб на вызов отца Паисия отмечал каждую четверть луны камланием в новом святилище. Ерегеб сослался на старость и просил уволить.

Тогда бобыль Балаш объявил, что часто бывает в стране мёртвых и потому готов стать новым шаманом.

12

Балаш человеком был нервным, дёрганным. Про него говорили – «болонд»⁶⁴.
Каждое полнолуние начиналось у него с обморока.
Сутками бродил по лесам и выкрикивал понятные только ему одному «имадки» – призывы к небу. Падал на колени, бил кулаками о землю и хрипел «гоноши» – заклятья.
Лучшего шамана не найти!
По требованию племени Ерегеб передал Балашу бубен.
Молодой шаман взялся за дело со страстью. Перед всяким камланьем постился три дня. Обряд вел до потери сознания – помирал заживо у святого огня на глазах соплеменников.
Или вдруг в конвульсиях изрыгал борост (янтарь). Снова глотал его. Уверял, что камушек будет надежно храниться у него в желудке до следующего камланья.

13

Отец Паисий был тогда ещё жив.
Однажды он забрёл с сетью в омут, а Балаш крикнул ему с другого берега:
– Растопчу икону – и твой Бог ничего мне не сделает!
Священник тоже был не робкого десятка. Отвечал из воды достойно:
– Твоего идола изрублю – ни волоска с моей головы не упадёт!
И ещё много опасных слов наговорили они тогда сгоряча друг дружке. Слух об этом богословском споре разлетелся по суландской долине. Распря духовников всколыхнула племя.
На другой день угорцы толпой ринулись к двуглавному храму.
Выкрикивали угрозы поджога.
Потрясали дрекольем.
Отец Паисий осмелился встать к нашествию лицом. Сердцем прикрыл Христово строение.
Предложил испытать силу веры не на деревянном срубе, а на плоти человеческой. Мол, кто из них, Балаш или он, отец Паисий, невредим пройдёт через огонь, того и вера крепче.

14

Бунтовщики вняли рассудительному попу.
На берегу, где когда-то священник обучал их азбуке, выстроили из сухих веток проходной шалаш.
В назначенное время и слепые притащились к ристалищу, и неходячие приползли.
А уж весь здоровый угорский люд, мужской, женский, детский – в малицах, ровдугах и рубищах, в лаптях и моршах, с утра толкся здесь.
Стояли первые тёплые дни после ледохода.
Солнечный, кумирный, берег уже облило зеленою. А под тенистым, церковным, ещё белел снег.
Гуси валкими клиньями проплывали над Суландой.
Ватаги уток падали с неба и ускользали за поворотом реки.
Мать-и-мачеха (ранник, выстрочник) расползалась по проталинам.
Окукливалась ракета.

⁶⁴ Не в своём уме.

Всё кипело вокруг.
И страсти бурлили меж людей.

15

Огонь принесли из кузницы Ерегеба.
Однако отец Паисий углядел в нём враждебную языческую силу и потребовал равенства.
Факел затушили в реке.
С обеих сторон сушняковой арки ударили кресалами по кремням.
Ветки взялись дружно.
Первым ринулся в пылающую купель пылкий Балаш.
По условию, позволено было испытуемым только мокрую рогожку накинуть на голову.
Темечком вперёд Балаш исчез в огне.
В толпе поднялся гвалт.
Бабы заверещали словно перед концом света:
– Ерош Истен!⁶⁵
Пылающее сооружение пошатнулось – испытатель в огне сбился с направления.
Сунулся в самый жар.
Толпа в ужасе застонала.
И, видимо, так припекло Балаша, что он вынужден был в огненной пещере пасть на колени.
На четвереньках, в россыпи искр вырвался в весеннюю прохладу.
Люди стали пригоршнями брызгать на него из реки.
Глаза угорцев горели торжествующим огнём.
Если Ерегеб, будучи шаманом, осмеливался только прикладывать угли к голой груди, а Зергель перекачивать через костёр, то Балаш в овладении испепеляющей стихией стократ превзошёл их.

16

Толпа взывала к отцу Паисию.
Дьякон Пётр внушал священнику:
– Держитесь левее, батюшка! Там оно прохладнее. Ветерок-то с горки тянет.
– Уповаю на Отца, Сына и Святого Духа! Господи, помоги! – молвил отец Паисий.
С крестом в руке нетвёрдой стариковской походкой приблизился к огнедышащему устью.
Народ вокруг умолк как по команде. Моргнуть боялись, не то чтобы слово молвить.
Ни охом, ни вздохом не отозвались на его решительный шаг. Наоборот, как бы усиливая жар, горящими глазами проводили священника в печище.
Гул разочарования раздался среди них, когда сначала показалась из огня рука с крестом, а потом и священник в тлеющей рясе.
Обгорели у него только пясть и конец бороды.
Одежда занялась в нескольких местах, но подбежавший дьякон Пётр сбил огонь ветками черёмухи.
Вышла ничья. Разошлись умиротворённые.

⁶⁵ Сильный Бог.

17

Вместе с угасшим огнищем остыли, казалось, и возмущённые души. Процветать бы и дальше двоеверию в Сулгаре, да тут вдруг так некстати на рыбалке и пропал отец Паисий.

Это послужило знаком, подхлестнуло неуёмного Балаша. Каждый вечер он теперь стал камлать возле кумирни напоказ, с тем смыслом, что провидение рассудило в пользу Хатал Эква.

Радуйся, племя!

Поп пропал, а шаман – вот он. Бьёт в бубен, пляшет вокруг костра, вступает в беседу со своими богами.

И слышит их наказ: очистить угорщину от пришельцев!

Своей духовной силой возбудил Балаш патриотизм туземцев. Засомневались в Православии после исчезновения отца Паисия даже им лично крещёные.

Обретение тела отца Паисия не только не охладило духовного пыла угорцев, но подлило масла в огонь. Угорцы стали яростно отвергать обвинение в убийстве священника.

Кричали, что коли душа отца Паисия на том свете, то распорядятся теперь ею в горней сшибке Истен Мед и Саваоф, Омоль и Антихрист. А здесь, на земле, пускай останется по-старому, как было «езер ев езелотт»⁶⁶.

И до того растравил Балаш возмущение своего народа, напичкал паству злобой, что дьякон Пётр вынужден был бежать в Важский городок.

Там, в съезжей, бил дьякон челом воеводе. Жаловался на язычников, мол, «смертоубийство православных замышляют».

18

...Енех-Енька дёргала репу на своём огороде.

Старший Иван сворачивал головы вершкам, а корешки корзинами таскал в яму.

Ананий и Ласло сидели на горке ботвы, грызли ломти сладкого корня.

С речного переката донёсся хруст копыт по камешнику, шумное взбалтывание воды, незнакомые голоса.

Енех распрямилась.

Три всадника в красных кафтанах с брызгами и пеной выезжали на берег.

У первого пищаль за спиной, а на груди – берендейка с гирляндой зарядов.

У других сабли на белых перевязях.

Младшего подхватила Енех на руки как оборону. Ивана с Ананием подгребла к подолу.

– Эй, баба! Где твой мужик? – крикнул передовой.

С испугу у Енех вырвались по-угорски:

– Ен говани.

– Чего лопочешь? Мужик где, сказывай!

– На болоте.

Стрельцы поскакали по дороге в гору, куда указала Енех.

⁶⁶ Тысячу лет назад.

19

...Никифор на болоте попеременно тянул рукояти ворота. Плот скрипел и тащился по трясине. Железистая жижа плескалась в корыте до краев.

Словно леший во плоти, Никифор кругом был илом заляпан, обвешен кореньями...

Выскакали из лесу верховые.

– Ты, что ли, Никишка Синцов?

– Я есть.

– Велено тебя в Сулгар доставить.

– Кто велел?

– Урядник.

– Зачем?

– По-бусурмански понимаешь?



— Есть такое.

— Толмачом, значит.

Сбруя позванивала. Фыркали воинские жеребцы. Мужичья кобылка волновалась. Как попала эта Кукла к покойному Синцу, так коня и не нюхивала. А тут сразу компания.

И чтобы кони «шеи не сломили», морды не заворачивали на гривастую, приказано было Никифору выпрягать сладкую из повозки посреди леса, забираться на неё, трястись охлюпкой впереди посыльных.

Без остановки проехали мимо Енех с детьми.

– В Сулгар я. Скоро буду! – крикнул Никифор семейству.

С опушки леса оглянулся – стоят как истуканы.

20

Стрелецкий урядник Бориска Ворьков в ожидании толмача обедал у дьякона Петра. Сабля и кафтан уложены на лавку. Рубаха распоясана.

Был служака молод и статен, новгородского кроя: узколиц, сух, чёрен бородой и глазаст.

Призванный для допроса отставной шаман Ерегеб как побитый сидел в тёмном углу избы.

Тоже, будто пленника, втокнули сюда и Никифора-болотника.

Урядник покончил с кашей, утёрся рукавом.

– Спроси у него, угрожал ли этот ихний Балаш убиенному батюшке?

Никифор перевёл Ерегебу и от него – уряднику.

– Говорит, это был... тrefа вито... Ну, как по-нашему сказать... шутейный спор.

– Значит, было! Теперь спроси у него, часто ли отлучался этот Балаш из стойбища.

– Почитай, каждую четверть луны.

– Так ведь и в день пропажи батюшки точнёхонько луна в четверти стояла. Значит, его в то время тоже не видать было в Сулгаре?

– Того он не упомянет.

– Что же так этого вашего Балаша в лес-то тянет?

– Там он с мёртвыми разговаривает.

– С мёртвыми! Ну, вот и добегался. Договорился. Разбой на нём! Поймаем – повесим посреди Сулгара. Либо в кумирню затолкаем и зажарим! Да и тебя, старого, туда же. Да и всех ваших крикунов поганных. Забудете, как перечить...

21

Позвали в избу целовальника.

Подготовка к увековечению происходящего у этого грамотея была долгой и обстоятельной.

Сначала он вытащил из торбы клочок пергамента, многократно скоблённый от прежних записей. Потёр его куском пемзы для выравнивания. Посыпал мелом и опять потёр, чтобы чернила уж точно не расползались.

Затем появилось на столе перо с правого крыла гуся. Ибо целовальник оказался левшой.

Перочинный ножик был вынут из игрушечных ножен. Перо наискось срезано на конце.

Выдолбленную из камня чернильницу в берестяной оплётке присяжный писарь снял с пояса и установил перед собой.

Вся эта процедура пугала Ерегеба – будто ему казнь готовилась!

Старый угорец вертел в руках гранёную палочку – пас – и бормотал смертные заговоры.

По требованию урядника Никифор вполголоса переводил причеты:

Бежали семь духов,

Семь священных духов.

Отдыхали возле семи берёз.

Эти семь берёз вечно стоят —
Одна берёза сгнивает и падает,
А другая вырастает.
Не руби маленький лес,
Он должен расти...

Понятно стало, что Ерегеб вовсе отчаялся. Готовился к смерти.

У бывалого служаки урядника это называлось «взять на притужальник».

– Скажи ему, мы, чай, не звери. Он старшина в племени, почитай, князь. Значит, может и сам откупиться, и людей своих откупить. Продай, старик, землю и спокойно живите. Пусть только этот ваш Балаш и впредь лишь с мёртвыми говорит. Чтобы среди живых я его не видел. Чтобы духу его тут не было.

– Елад талай ед лакик⁶⁷, – перевел Никифор.

Старый Ерегеб подумал и кивнул.

Целовальник вывел на пергаменте:

«Купчая... А что купил село Сулгар со всеми угодьями от Туйги до Паденьги, по обеим берегам Пуи и Суланды, я есмь урядник Бориска Ворьков за пять рублёв... Аже иметь мне служить, село будет за мной, не иметь служить, – село отоимуть в государево владение...»

22

До сего дня здесь на паперти сулгарского храма лишь отец Паисий представал перед старожилками единственно от имени Христа. Благостные выпевы попа канули в небыль. Внове были и голос лихого урядника, и напор.

Не слезая с коня, Бориска Ворьков прочитал только что подписанную грамотку на вотчину. В пояснение добавил:

– А в кумирне вашей будет теперь волостная управа. Старостой – Ерегеб. К нему в помощь – выборный Никифор Синцов. Что причитается с вас на кормление войска, на подати Господину Великому Новгороду, то нести в съезжую в Рождество и в Петров день...

Пока говорил урядник, стрелец из переднего ряда заряжал пищаль – для острастки.

Мешочек пороху затолкал шомполом в дуло. Сверху пыж из пакли. Подставили ему бердыш. Ствол пищали (дудки, свистка) лёг меж черенком и лезвием.

Урядник выхватил саблю из ножен и вскинул над головой.

Стрелец ударил кресалом, раздул огниво.

Поднёс к фитилю.

И не сразу – пока ещё искра добежала до заряда! – грянул гром в ясном небе.

Выстрел прокатился эхом над Сулгаром.

Первый здесь – с Сотворения мира.

23

...Тутта остановилась и задрала голову в поисках морока.

– Минек езе ван?⁶⁸

Сосны, одинаково высокие, ровные как колонны всякого языческого храма, словно окаменели.

⁶⁷ Продай землю, и будет мир.

⁶⁸ Неужели дождь будет?

Лесной бог Вэрса пребывал в светлой задумчивости.

– Эз ороз лё⁶⁹, – сказал Кошут.

От своего стойбища окольными тропами пробирались они к рыбацким шалашам на Туйгу.

По всей длине эта речка была разгорожена родовыми угорскими запрудами из кольев. Рыбачили вершами, ставили прутяные морды. Бичевали воду вицами, загоняя рыбу в ловушки.

Или вместо крючков использовали острые палочки – баты с наживкой. Или ловили просто на конский волос. Червяка в узел потуже – и ждать до глубокого заглота.

Узкая Туйга в этом месте петлёй охватывала сосновый бор, наполненный тихим пением. То ли иглы звенели на ветерке, то ли где-то вдалеке стая птиц отбивалась от коршуна.

Кошут с Туттой шли на этот звук.

Вскоре между редкими стволами различили они блеск медных тарелочек – неукротимый Балаш священнодействовал у жертвенника, бил колотушкой по кожаной перепонке, разражался пронзительным криком, будто раненый заяц вопил.

Вокруг Балаша сидели на пуховых перинах беломшанника десятка два угорцев из Сулгара, верные своему пламенному вождю.

Втайне от стрельцов, наперекор мнению сторонников предателя Ерегеба, они собрались здесь сегодня для решительного разговора.

– Мега тол тюз, котель ме млег!⁷⁰ – выкрикнул Балаш.

После чего скорчился и отрыгнул заветный янтарь.

Отёр камушек о меховую накидку и водрузил сверху каменной пирамиды.

– Мега тол тюз!⁷¹ – вразнобой ответствовала паства.

Шаман побежал вокруг капища, ударяя в бубен только с внешней, небесной стороны.

Взывал к провидению:

Оставь свой дом.
Его заколдовали злые духи.
Не ходи по прямой —
Там капкан.
Бегом, бегом
Семь дней по кругу...
Священный берег
Размост река.
Священную заводь
Завалит песком.
Но они не исчезнут —
Мы их унесём с собой.
Ветер тучи нагонит.
Бог Ен на берёзе.
Попросим: убери тучи!
Открой хорошую жизнь...

– Элтэ фелхо!⁷² – на едином выдохе вырвалось у людей.

Мужчины, сидя на корточках, раскачивались.

⁶⁹ Это русский стреляет.

⁷⁰ Мы умираем от огня, который должен нас греть!

⁷¹ Мы умираем!

⁷² Убери тучи.

Вторили шаману.
Женщины были.
...Уходить решили в полнолуние.

24

Дней пять оставалось до назначенного срока.

Собирались без паники, пока до урядника Ворькова не дошли слухи, будто шаман Балаш по ночам прячется в жилищах угорцев и по-прежнему «мутит воду». Начались засады и обыски. Переворошили весь Сулгар. Наладились и на отшиб к Кошуту.

Среди ночи прискакали сперва к Синцовой обители. Оттуда надо ещё круга давать. Будили Никифора, кричали, требовали показать путь к Кошуту.

Их голоса за рекой встревожили Кошута в землянке, подняли с жёсткого ложа.

Оставалось им с Туттой только разгрести вход под лежанкой.

По всей длине лаз давно был прочищен. На другом конце, на выходе в склоне оврага загодя уложены: пад – кожаный мешок для обуви, емпара – корзина с одеждой. И вяленое мясо в кыре, корневице (плетёнка-консерватор).

В другой половине проснулись сын Габор с женой Марьей.

В семье угорца давно уже было решено, что Габор скажется русским. Он и сам был не прочь. Габор любил Марью. Накуковала ему дочка Синца про удобства и выгоды славянской жизни. Да и пример удачливого дедушки Ивана склонял к истине...

25

Когда слышится сиротский плач или бунтарский клич, когда начинается движение народа, – бытие переходит в эпос. Звучат его первые слова, – обычно это женские причитания:

День за днём пойдём
Через поле, через брод...
Шаг за шагом —
Будто курица зерно клюёт...
Ветер и дождь в лицо,
И наш бог потерял нас!
Теперь нам быть на чужбине...
Прилетели на час,
Оставляем свои крылья на век,
Оставляем не тем...
(Нем аз!)

Повторяли каждую строчку.

Ревели.

Марья уговаривала старого Кошута засесть в лесу, переждать напасть.

Золотая невестка. С такой бы и Тутта безобидно прожила до смерти. И деда Кошута молодые бы не унизили.

Но что-то имелось в душах родителей дороже семейного устройства.

Кошут твердил: «Ода зырян. Ода суоми».⁷³

⁷³ Пойдём к зырянам, пойдём к суоми.

Не мог человек терпеть ороз (русских). Что тут могла поделаться Тутта?
Конский топот в ночи слышался всё отчётливее. Коротко обнялись напоследок и полезли на четвереньках в рукотворную пещеру.
Топором Кошут подрубил колья за собой и часть плетёного свода рухнула.
Немного песка вывалилось в помещение.
Снаружи у стены избушки провис дёрн. Больше никаких следов от беглецов не осталось.
Когда стрельцы с факелом в руке ввалились в жилище, нашли там только молодых.
Марья стрекотала по-русски. И Габор бубнил вовсе не по-басурмански. А о существовании прашуров гонцы знать не хотели.
Им Балаша подавай.
Ускакали обратно в Сулгар⁷⁴.

26

В глухом овраге среди ночи зашевелилась и вспучилась земля. Если бы наткнулся на такое случайный путник, то мог и поседеть. Во всяком случае долго бы он бежал от этого ужаса куда глаза глядят.

Хотя вовсе и не какая-то нечистая сила выбралась из-под земли на лунный свет, а Тутта с Кошутом.

Тутта взяла на локоть емпару.

Кошут пад и кыр на плечо.

И пошли они – сперва на Туйгу.

Дождались там других охотников к перемене мест. Цепочкой человек двадцать во главе с Балашем ринулись на Север.

Через неделю доброхоты перевезли их через Выну (Дывын, Северную Двину).

Реку Пинегу в летнее маловодье перешли они вброд.

И спустя месяц, сразу за Шочей-рекой вторглись суландские угорцы уже и в зырянские земли.

Указали им тамошние старшины место для насельничества.

До зимы наверняка устроили землянки. Занялись привычным делом – охотой.

Кто-то там и свою смерть нашёл.

Кто-то перемешался с зырянами (комен).

Вряд ли вынесло их к суоми, или хватило сил дойти до эстов.

А чтобы влиться в вольные единокровные венгерские племена, им надо было двигаться сначала на юг, а потом, по степям, крупными воинственными ватагами – на запад.

Да и сниматься с насиженных мест нужно было веков на пять раньше.

Написав эти две первые части романа, я как бы головой упёрся в потолок и стал шарить в потёмках по стенам вокруг. Ну, отправил угорцев в дали неведомые. Ну, укоренил славян на их исконной земле. Что дальше делать с начинателями столь ничтожного, по меркам государственных историков, дела, как основание русской деревни, с этим славянским мужиком XV века, приплывшим на плоту с молодой женой в земли чуди? Как быть с его потомками? Кому кроме меня интересна история Мужика?...

⁷⁴ В летописях и преданиях часто встречается выражение: «Чудь в землю ушла, под землей пропала, живьем закопалась». Этот народный порыв, по одним данным, произошёл оттого, что коренные жители просто испугались пришельцев, по другим, оттого, что они увидели какую-то красную берёзу, внезапно выросшую на чистом месте и означавшую для них владычество Омоля – бога подземного царства. (Г. А. Семенов. История Севера, 1993) Антонина Васильевна Никишина из д. Афанасьевской Шенкурского района Архангельской области рассказывала: «...когда стали появляться христиане, то угро не захотела общаться с ними, не захотела поработиться. Вырыли они большую яму, а потом подрубили стойки и себя захоронили».

В состоянии душевного прокисания как-то высказал свои сомнения давнему моему приятелю – философу по профессии и призванию. В его холостяцкой кухонке на видном месте стоял широченный ящик с карточками. В них – вся мировая философия в сжатом виде. Одной рукой философ похлёбку мешал, другой – самодельные «файлы» перебирал. Вытащил одну карточку (так когда-то учёные птицы на ярмарках доставали счастливую записку) и сказал: «Вот на что тебе надо опереться».

Из этой карточки, к моему стыду, впервые я узнал об истории «снизу», историке Фернанде Броделе, школе анналов и структуре повседневности в историческом исследовании, о «храме человека»... Так появился у меня старший товарищ по несчастью и наставник – Фернан Бродель. Если коротко, то в созданной им Школе анналов придерживаются такого убеждения, что поражение Французской революции, например, определил вовсе не напорк Наполеона при битве у Ватерлоо, а неудачная продажа вола в этот день, 18 июля 1815 года, крестьянином Луи Бурже в провинции Турень. Что великие события и властительные персоналии несравненно менее важны, чем природа, социум, экономика, в которых задействован неприметный для этой оглушительной истории Человек. Важнее всего – история этого самого Человека. Какого такого человека?

Да любого.

И вас, и меня, и всякого прочего прохожего.

«Мы все глядим в Наполеоны»...

«Без меня народ не полон»...

Другими словами, мысль о том, что каждый из нас есть в этом мире самое главное – не такая уж плохая мысль. И герои моего романа – сразу как бы наполнились историческим достоинством. И деревня, ими основанная, разрослась до космических размеров. Вживе встали передо мной сильные красивые русские люди крестьянского сословия, обитавшие на вольных северных землях пятьсот и более лет назад.

И я пошёл дальше...

Часть III

Книга торга

Геласий (Ласло) (1491–1538)

Чудеса обогащения

1

Геласий разжигал сушняк в овине. Сидел на корточках во вретище⁷⁵ из дерюги без рукавов, лишь с прорезью для головы и рук, подпоясанный крапивным жгутом.

Перед тем как раздуть трут, бороду сунул за ворот, чтобы не опалить. Взялась береста. Огонь осветил яму. Побежал в дальний угол овина. Зардели угли.

Горячий воздух устремился вверх, сквозь охапки сырого льна. Пар поднялся над землёй. Геласий выставил ладони к огню, произнёс:

Громы гремучие,
Тучи идучие,
Огни горючие,
Пламя трескучее
Славно трижды будь!..

И до утра потом менял соломенный насад с сухого, хрупкого – на влажный, гибкий. Готовил задел к завтрашнему обмолоту.

2

Свет с востока скоро загасил звёздное мерцание. Белой росой полило вытеребленное льнище.

Пуя укрылась туманом, будто льдом.

Прокопчённый, с чёрными от сажи лицом и руками, Геласий скинул с решётки последний сноп.

Сил не было идти до реки. Но и в избу таким «чёртом» грех являться.

Вретище гулко опало с плеч. Остался в зыбком рассвете молодой неженатый Адам даже и без фигового листочка в паху.

Колени на бегу вскидывал высоко, как молодой конь.

От затылка до пяток каждая жила в нём перевивалась и переталкивалась, всё тело кипело.

Сходу прыгнул в омут.

Звериные вопли разнеслись по пуйской долине.

Зайцы прижали уши.

Лисы попятились в норах.

⁷⁵ Вретище – одежда из грубой толстой ткани (холста или рогожи), мешковидного полотна.

Закусила да так и не перегрызла ветку ондатра.
Человек вопит!..
С омовения Геласий в избу зашёл, прикрытый листом лопуха.
Уже слышно было, как мать в хлеву доила коз.
Крикнул ей, чтобы нынче звала баб на околотку, и полез на полати.

3

Проснулся он от трескотни кичиг на току. Бабы кричали и хохотали за окном.
Не надо было долго кланяться работницам о помощи. Всякой хотелось иметь от Геласия за труд крашеное полотно. И невестки из-за реки пришли, и бабы Шестаковы, и сулгарские жёнки давно стояли на току хором, вальками околачивали льняное семя.
Позади них тоже круговым валом накинута была жёлтая обмолоть.
И ещё один круг – солнечный – сиял в самой выси.

4

Появился Геласий перед народом высок, крепок, поворотлив. Длинные светлые волосы прибраны под сыромятный ремешок с медным колечком для роспуска, чтобы, побыв под дождём и усохнув, не сдавливал голову.
Бородка была у него дымчатая. Добротного тканья рубаха крашена в можжевелевом отваре – в ржави. Порты из ниток в два цвета: сине-жёлтая пестрядь, и на ногах будто литые берестяные лапти.
(На выход имелись невесомые лыковые.)

5

Как хозяину, ему положено было собирать семена с тока. Пересыпать в мешок.
Уже под собственной тяжестью семена промасливали рогожу.
Возле тока лежала колода с дуплом, куда Геласий всыпал льняное семя. Вставил пробку и обухом принялся бить по ней.⁷⁶
Подверг семена сжатию.
И потекло по желобку в плошку льняное масло.
Весь жмых от дневного битья по обычаю Геласий раздал работницам. Чтобы детей полакомили.
И одобрили тесто утренних хлебов.

6

Назавтра обмолоченный лён расстилали.
Знали бабы, в эту пору дует всегда с горы, с Сулгара. Потому клали так, чтобы «подол» не задирался.
Месяц, а то и дольше подгнивать соломе для освобождения волокна. Случалось, и из-под снега приходилось добывать.
Особый загнёт устраивал Геласий в затишке Пуи – прижимал ко дну ветвяными решётками и камнями.

⁷⁶ Отсюда: маслобойка.

Илом, всякой донной слизию обсасывался лён до паутинной мягкости. Ткались из такого волокна тончайшие платочки.

7

Весь сентябрь центром жизни для баб пуйско-суландской округи были льняные уголья Геласия Синца.

И самый-то центр, хозяин, ни на минуту не терялся ими из виду. Не мужик – загляденье.

Если на нём был и валяный колпак, то с заячьим хвостом. Коли сукманник, так непременно опоясан пёстрым тканым кушаком с кистями. Широкие пестрядинные штаны с напуском на оборы.

Льняная борода.

Светлые чудские глаза.

И главное притяжение – белизна лица, ход и ухватка...

8

Когда ещё пойдёт в дело лён этого нового урожая 1525 года. А ведь уже теперь с окончанием расстила и замачивания, как уговаривались, подавай пригожий работницам расчёт крашеными полотнами в локоть за три уповода.

Потому нынче Геласий с утра опять был в прокопчённом вретисе. Рубил берёзовые дрова, калил дедову домницу. Готовил пробную загрузку прошлогодних полотен в новый красильный чан.

Замочен чан наглухо. Держал воду до капли: глиной было выложено днище и усыпано речной галькой, чтобы не поднималась муть.

Густой пар стоял над красильней.

Раскалённые в домнице камни Геласий перекатывал по жёлобу в чан. Оттуда деревянными щипцами таскал обратно в огонь.

Кипятил отвар.

Щепкой пробовал густоту.

...Эти разноцветные щепки в другой бы раз покойная бабушка Евфимия бережно собрала и на Рождество сложила из них звезду Богородицы.

Нынче при взгляде на крашеные лучины опахивало внука только лёгким ветерком памяти о покойнице.

9

Про талант

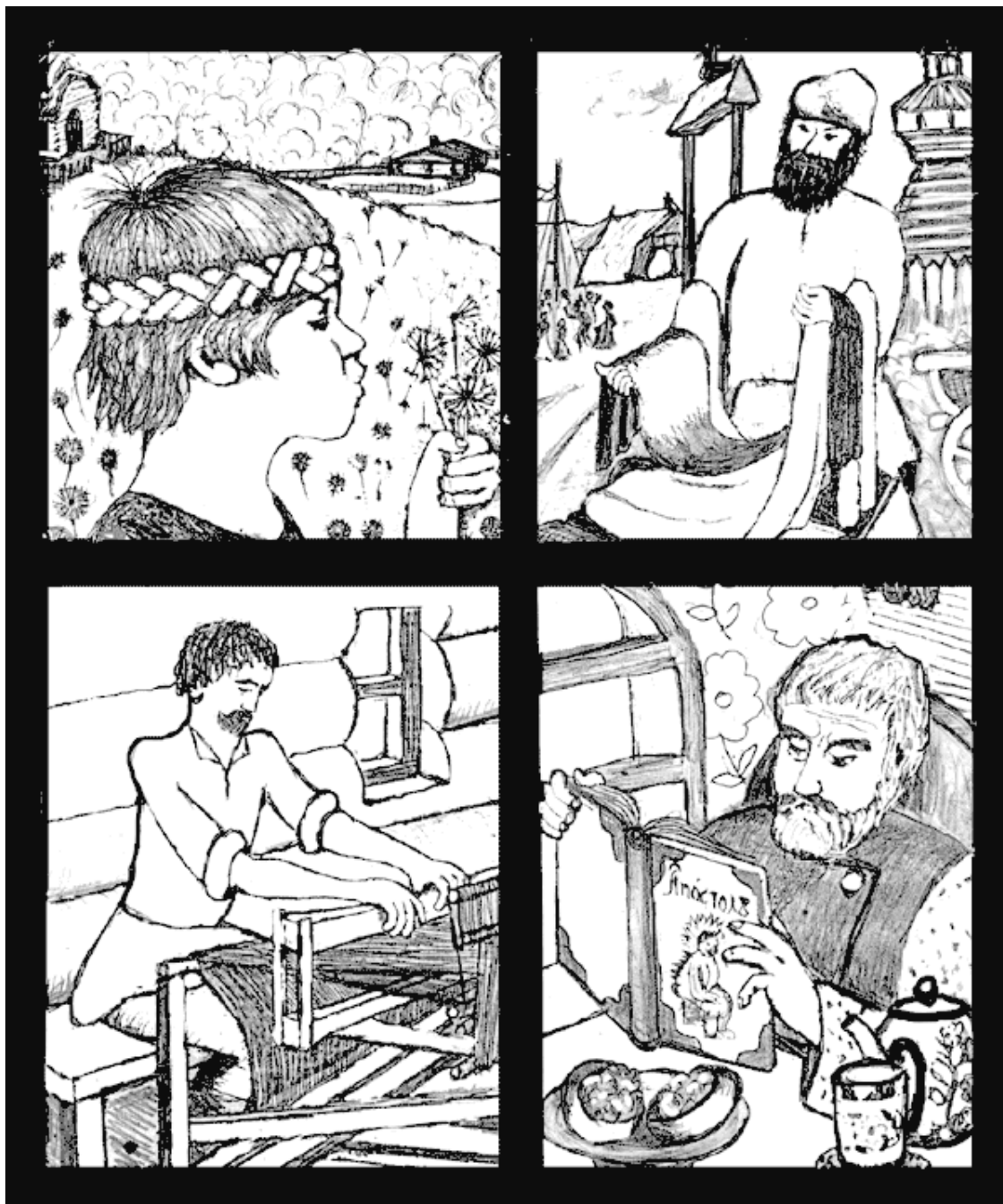
Эти разноцветные палочки всегда напоминали Геласию о временах детства, когда он жил при храме, шаровничал у богомаза Прова, охру растирал.

Этот Пров стал для Геласия истинно духовным отцом. Помнился он тощим мужиком с ласковыми глазами.

Много лет назад какой-то боярин вывез его из Новгорода на Вагу для росписи церкви в вотчине. Да случилось, язычники спалили строение. И побрёл Пров откуда слухом доносит.

Приткнулся здесь в Сулгаре. За харчи подрядился. И потребовался ему мальчик-краскотёр.

Бабушка Евфимья, будучи служкой в храме, узнала про его нужду и привела к нему десятилетнего Гелаську.



Будущего краскотёра Пров встретил без лишних слов:

– Вот тебе, отрок, ложка. В ней охряная крошка. Катышки ущупывай и пальцами их, как ступой...

Сразу стал старик называть малолетнего помощника полным именем.

– Помру, Геласий, ты меня тут похоронишь. Да ведь и сам тоже когда-то Богу душу отдашь. А наши с тобой иконы вечно будут сиять!

Скоро Геласька настолько обвык в растирании красок, что ему было дозволено льняное масло в пингаму добавлять.

Из любопытства он однажды сунул палец в горлышко таинственного сосуда и облизал.

И, что называется, взалкал. Стало в кувшине шибко убывать.

Пров прижучил, повозил за белы кудри. После чего велел принести из дому чуманчик и отсыпал льняных семян на посев.

Добывай лакомство в поте лица!

Покойный батюшка Никифор позволил занять полоску в огороде.

И Ласька льняное семечко от семечка на вершок уложил в бороздки.

Урожай созрел. Ласька между камнями нажамкал масла и принялся отводить душу.

Пров опять вмешался.

– Чем утробу набивать, лучше ты, парень, семена обмолоти да сбереги до следующей весны. Вдесятеро получишь. И на масло хватит, и на рубаху.

– Как это на рубаху?

– Да не век же тебе в рогожной ходить!

Пров достал из котомки шлифовальную кудель и отделил нить.

– Смотри, Геласий, вот он лён – тоньше ресницы, а попробуй порви – не сразу даётся.

Мазнул пальцем по языку, ссучил несколько волосинок.

– А ну-ка, дёрни.

Нить до крови прорезала кожу на пальце Геласьки.

– Насеешь льну. Мамка тебе сорочку сошьёт. А я её цветами распишу.

И после этого Ласька зёрнышка в рот не положил.

В следующую весну он уже целую полосу у отца выпросил в поле. И не из туеса сеял, – из зобёнки.

И так за годом год.

Захватило парня льном.

У мужика на льне нрав заточился.

Сеял на подсеках. На палях. С отдыхом земли под рожь и под залежь. С обменом семян на ярмарке в Важском городке.

Перед смертью Пров успел ещё научить Лаську доводке льняной соломы до состояния кудели. А уж прясть-то бабам было всё равно что: шерсть или этот распушенный лён.

То есть не на каменную душу пало зерно.

Устремил учитель на терпение и выгоду, и парень не свернул.

К зрелости своей, к 1525 году, после смерти отца, всю наследственную землю засеивал льном.

Сам лён трепал, вычёсывал. Складывал в засек.

И всю зиму ткал.

Теперь уже нитяной стан лежал перед ним, а не торчком стоял, как у матери. Полотно собиралось у него в локоть шириной, а не в четверть, как у неё.

И набивка действовала от удара ногой по доске.

Кудели накопилось полный сарай. Скоро она пошла на сторону.

Брали соседские бабы. Возвращали клубками пряжи.

И такой, примерно, происходил у них при этом разговор:

– Вот тебе, Геласий Никифорович, двенадцать клубков.

– За мной, Катерина, значит локоть крашеного. Каким цветом желаешь?

– Ты мне дай еще кудели, Геласий Никифорович. Чтобы четыре локтя вышло. А цвет желаю – синь-небо!

Тут надо сказать, на поневу-то (на четыре локтя крашеного полотна) и не нужно бы бабе прясть сорок восемь клубков. Достаточно половины.

Но должно же достойно оплачиваться таинство ткача и красильщика! Не монетой, так продуктом. То есть пряжей. И никаких тёмных подозрений, завистливых соображений при этом не возникало. Ещё и с подношенищем кланялись Геласию за постав, от чистого сердца...

Ну, а коли у какой-то бабы с прялкой не ладилось, а сарафан крашенный был невтерпёж, тогда приходила она в Успенье лён теребить, невелика наука.

В таком случае за цветастый аршин поставить она должна была пять суслонов. А в неуродистый год все десять.

И шли.

Замечали на льнище за тереблением Еньку-Енех – матушку Геласия, спускались к ней под руку снохи братьев Ивана и Анания.

Ещё из Сулгара угорки набегали...

10

«... И стяжал он богатства от трудов своих на земле, и стал торговать на прибыль и пользу себе...» – эти слова в Завете словно с Геласия были списаны, когда он в зимнюю ночь запрягал коня в широкие пошевни.

Настраивался на одоление, бодрился.

Хлопал рукавицами, отпугивая мрак.

Туже затягивал кушак на кожухе.

Рёхал на пробив пути...

В избе за слюдяным оконцем дрожал огонёк лучины.

Матушка Енька-Енех в суконном опашне горюнилась на крыльце. Фыркал конёк, откормленный в дальнюю дорогу.

Избаловался якутёнок – теперь только сено ему подавай. Ну, так ведь и не в табуне бродить, одно своё брюхо таскать – тогда не сдох бы и на подснежной травке.

Нынче у коня тяжкий упряг. В кожаных мешках два десятка поставов крашенины.

Да воз сена на подсанках.

Полпуда в сутки подай возница «горючки» тягловой скотине, а сам весь путь позади бреди.

С устатку разве что рукой о копыл обопрёшься...

До Важского городка три дня пути по застывшим ухабам, по вихлявой дороге чуть шире тропы.

Ночевать в лесу у костра.

Для обороны – топор.

И мороз, мороз...

11

Рвался мужик на простор жизни из тёплой избы, от сытного стола, от доброй матушки. Мало ему было охотничьих шатаний, возки дров из леса. Шумела в голове кровь, тоскло тело, пела душа о дальней дороге.

Избыток силы выталкивал на просторы. Но главное – избыток холста: наткалось у них с матерью столько, что хватило бы обоих втолстую оуклить.

Само ремесло трубило в трубу – на торги!

И конь после недельного застоя тоже охотно влёг в хомут всей своей тушей и дробным напористым ходом поволок сани всё дальше и дальше от тёплого стойла.

Кто преградит путь мужику? Чьё слово отвертит его от работных и торговых трудов? От стремления жить сытно, тепло и баско?

Может ли такое быть, чтобы угнездилась где-то в разуме людском противная мысль?

Против человека холод, мрак, болезнь, удар молнии, засуха, о чём и предупреждал его Господь при изгнании из Эдема.

Враждебна человеку тяжесть труда, пот на лице при обретении собственности. И об этом тоже ему было заранее извещено.

Но может ли быть, чтобы только по причине тягот в накоплении, она, эта самая собственность, оказалась не в природе человека? Ею, собственностью, наделён человек был уже и в Раю! Весь сад Эдемский находился в его управлении. И там, на небесах, призван был человек возделывать сад и, если не приумножать, то сохранять. И там листок смоковницы, первый лоскут собственной одежды, имел он в собственности...

Даже у жестоковых Каина и Авеля в собственности водились снопы пшеницы и стада овец.

И ни слова осуждения никогда, нигде в древних письменах не говорилось. Вы спросите: но не за то ли они и заплатились?

Нет, не их богатство стало причиной кровавого раздора, не ревность в трудах земных, а ревность к Создателю.

Наоборот, сказано было Господом: богатство – Божий дар. Наслаждайтесь сами и наследством одаривайте близких своих...

Геласий – наполовину угорец, язычник, ещё во многом, в 1500-х годах, был человеком ветхозаветным. Вряд ли он сомневался в праведности своих трудов.

Скорее всего, и помыслить не мог о греховности обогащения.

С незамутнённой душой, может, и с музыкой в сердце одолевал первые вёрсты в сторону ярмарки. Но уже на сулгарском Погосте вполне могло бы повеять на мужика от христианского храма, от тусклых лампадок в его окошках негласным язвительным укором.

Морда коня ещё окуржевёт не успела, а уж возжси натягивай.

Перед повозкой в предрассветной морозной мгле не образ ли отца Петра с крестом наперевес?

«Стой! Посмотри на полевою лилию – не прядёт, не ткёт, но сама княгиня не одевается краше её! Будь как лилия – только тогда вечно тебе в Раю блаженствовать. А с таким возом добра – дорога тебе только в ад...»

В онемении стягивает мужик шапку с головы и накладывает кресты на лоб.

Укоры усиливаются. «А на птицу небесную взгляни – не сеет, не жнёт. Отец Небесный питает её!..»

Мужику хоть падай на колени и проси прощения за неразумность.

Напор не ослабевает.

«Не заботься, что есть, что пить, во что одеться. Ищи прежде Царства Божия, и это всё приложится тебе...»

«Уж не поворотить ли, в самом деле, домой», – думает мужик.

Но тут, на его счастье, знаком Небес камнем падает к его ногам замерзшая на лету райская птица с увядшей лилией в клюве.

Облачко пороши поднимается вокруг падали.

«Вот оно как у нас выходит с птицей-то да с лилией», – думает мужик, напяливая шапку.

Вдруг как-то невольно сходится у него в голове новозаветное в кольцо с ветхозаветным.

Он возжсой по крутому боку коня хлоп:

– Н-но, Серко!

Едет своей дорогой.

12

...В отсутствии врага городская стража своих мытарила.

Вместо зыбкого образа отца Петра, с его расслабляющими проповедями, у ворот Важского городка встал перед Геласием во плоти истинной преградой ходячий тулуп – краснорожий привратник с копьём под мышкой.

Мыто ему подавай, «проезжее».

Геласий к трём «деньгам» добавил стражнику две за присмотр товара.

Поводья намотал на деревянную спицу в бревенчатой стене. Остатки сена вывалил под морду снурово якутёнка. Укрыл трудягу дерюгой.

А ухо Геласия под шапкой давно уже было наострено в сторону базарной площади.

– Шумят христиане. Небось, все в барыше?

– Нажитки жидки, – ответил стражник. – Прибытки не прытки.

– Ну, так ведь лежачий товар всё равно не прокормит.

– Оно так. Только на торгу денёга проказлива.

Пообдёрнулся мужик после дальней дороги, пообчистился. Всё на нём ладно: и шапка бобровая, и кушак тканый с кисточками.

Боевито повёл плечами. Помял лицо от бровей до бороды, как бы вылепил на нём новое, подходящее для дел выражение.

И направил лапти в сторону торжища.⁷⁷

13

Святки. Начинай грешить сначала.

Даже позорный столб на базарной площади Важского городка нынче был облит льдом, и на самом верху висят бублики хомутом в награду ловкачу.

Слышится говор, смех, перекличка носячих.

– Сбитень горячий – пьёт приказной и подъячий.

– Патока с имбирём. Варил дядя Семён. Арина хвалила. Дядя Елизар пальчики облизал...

Ехал Геласий по лесам один как перст, в страхах и сомнениях. А здесь на торжище среди народа враз правдой и смелостью проникает. У самого присловье с языка срывается:

– Кто в лён одет, доживёт до ста лет!..

14

Не одна сотня таких как он одиночек с Шеньги и Паденьги, с Тарни и Леди, а то и из самих Холмогор составляли рождественские торги в Важском городке 1526 года.

Отдельно сидели кожевники, вошары, салотопы, железняки.

У самого воеводского двора на виду – а «насиженное место – полпочина» – расположились меховые лавки со своим зазывом и толкованием.

– Бобра на спину – лисицу на подклад!

– Медведь быка дерёт. И тот ревет, и другой ревет. Кто кого дерёт – сам чёрт не поймёт! Из одной шкуры – и шуба тебе, и воротник!

⁷⁷ Если бы он приехал летом, то потребовали бы ещё: побережное, перевозное, мостовщину, костки (за проводника).

– А вот белки – не для тепла, так для красной отделки!

Тошнотворной сладостью несло от дегтярного стана: горками были сложены здесь двухведёрные бочонки со смолой.

Слюдяной привоз играл на солнце радужными разводами.

Железные прутья были воткнуты в снег; казалось, сама земля ошетижилась. А полосы для ошиновки колёс только тронь – закачаются и зазвенят.

Мороженная рыба в кучах, свежая – и с душиком.

Слепки воска на дерюге словно пушечные ядра.

Соль, птица, сало... Товар из дальних краёв, дивный, дорогой...

А на окраине – изделия свойские. Расторопные мужики из ближних деревень приволокли на лошадаках, а то и на чунках, да могли и на загорбках, лапти, горшки, муку, шерсть, лён.

Оглобли у саней задраны вверх, чтобы не мешали движению народа. На концах оглобель – образцы товара (реклама!), далеко видать.

15

Место для себя Геласий высмотрел подле кожевников. Оставалось заплатить «явленное», получить ярлык и перетащить товар на торжище. У мытного двора он расспросил хмельных мужиков, где найти Мишку – «не беру лишку».

– Известно где. В корчме, – пояснили мужики и принялись дальше толковать про убытки. Дескать, чем так торговать, так лучше воровать!..

Пришлось ломать порядок – с питейного дома Геласий никогда дело не начинал.

В большой избе стоял полумрак и холодный, кислый пар.

Мишка – «не беру лишка» сидел среди купцов – кудлатый мужик в драном кафтане и с повязанным на шее ярким шёлковым платком. Этот род шарфа и сапоги выдавали в нём человека своеобразного. И не земледелец, и не купец. Нравом скоморох. Однако без дудки и бубенца.

Шут базарный.

Отбился он от свиты какого-то боярина, скорее всего, изгнан был за лукавство или корысть.

С тёмными денежками ещё совсем молодым объявился Мишка в Важском городке. Домик купил. Женился. Здесь супругу схоронил. Постарел. Когда-то учил грамоте воеводских детей.

А теперь кулачил⁷⁸ на базаре.

– Хоть в нитку избожись, – не поверю! – перечил Мишке дородный купец и стучал по столу тяжёлой ладонью.

– При колокольном звоне под присягу пойду! – крестился Мишка.

– В напраске побожиться – чёрта лизнуть!

– Лопни моя утроба. Чтобы мне не пить винца до смертного конца!

Геласий приближался к нему со спины, по полшага, с покашливанием.

16

Знакомство с Мишкой свёл Геласий год назад.

Выручил за крашенину и решил купить атласу за три полтины для приманки баб на льнища.

⁷⁸ Кулак – до середины XIX века – посредник в торговле на ярмарках.

Подвернулся этот Мишка, соблазнил скидкой на двадцать гривен, подвёл к нужному человеку. По цене выходило атласу четыре аршина. А когда Геласий дома раскатал, перемерил – едва три натянул.

Вот как ловко прибаутками своими, махами рук, поцелуями да объятиями умел Мишка ослепить и лишить рассудка.

Теперь, думал Геласий, за мзду этот бывалый человек подсобит и ему выгодно отторговаться.

– Поклон вам, Михаил Евграфыч!

– А! Князь Пуйский опять к нам пожаловал!

– С вами, Михаил Евграфович, словом бы перемолвиться.

– На моих словах что на санях. Давай, покати.

Они уединились в сених. Геласий изложил свой замысел.

Сошлись на десяти гривнах в пользу Мишки.

С той минуты «князь Пуйский» горя не знал.

В первый же день с Мишкиной подачи было продано семь аршин червлёного полотна (крашено в отваре сушёных ягод черемухи) и пять коричневого (в коре сосны).

На ночь тюки перенесли к Мишке домой.

Тут под окнами и Серко стал ночевать.

17

Дом у Мишки был в три окошка.

Дочка его хозяйничала и жила за печкой в шомуше, как старая бабка.

Соседи готовы были пожалеть сироту.

Гордячка избегала внимания.

Тогда начали бабы пристальнее всматриваться в её обличье.

Вскоре сошлись на том, что «у нас таких нет». Лицом не бела. И «глазишша обоянь» – в приблуду отца.

...Статная девушка на выданье этими глазищами смело глянула на Геласия, и его словно тёплым ветерком опахнуло. Сияние вокруг неё увиделось и ночью не угасло.

Зажмуривал Геласий глаза, и девушка как бы опять клонила к нему и потчевала квасом.

Каждый вечер теперь Геласий нёс ей подарок с базара. Чуманчик мёду, зёрнышко речного жемчуга, оловянную дробницу, ленточку позумента. Она не отказывалась. Звали её Степанида.

18

По торжищу разнеслось: Мишка – «не беру лишка» мёртвый лежит под городской стеной.

– Опился брагой, наведённой в медном нелужёном ведре, – возвестил судебный дьяк на следствии.

Народ твёрдо стоял на том, что отравили знатного кулака за долги и обманы.

Одной из хитростей Мишки было умение «удержать денюгу на повод», то есть в момент расчёта, передачи монет, удержать несколько, не доплатить, как бы продолжить торг даже и после того, когда ударили по рукам.

А купец уже товар учёл и размягчён продажей и не вступает в спор, прощает...

Или не прощает!

19

Геласий один, без Мишки, доторговывал.

Не жильцом доживал с его дочерью Степанидой – нелюдимкой – под одной крышей. И не хозяином. Но – старшим братцем.

Потом как-то в морозный крещенский вечерок поднёс девке серебряное колечко и к сироте посватался.

Скоро заколотили они домик в Важском городке и поехали венчаться в Сулгар.

20

Кованый Серко цокал по наледям, порхал в пороше метёлками ног.

Дорога узким жёлобом вилась в лесах. Не в степи – не заблудишься.

В корзине, на сене, в меховом коконе вёз Геласий невесту. Не смел рядом лечь. От самого дома, будто пристяжной, вышагивал сбоку пошевень.

Матушку хвалил – заместо дочки будет ей Степанида.

Обещал выгородить в избе светлицу.

А на свадьбу задумано, дескать, у него ровнины наткать. Одеть невесту в батист. Украсить паволоками.

Крещенские дни коротки. Ночевать свернули в молодой ельник у речки Паденьги.

Степанида взялась коня поить. Подвернула шубу и будто на санках скатилась к промоине. Сверху ей вожжи кинул Геласий, чтобы не расплескала на подъёме.

Для неё он налил воды в наскоро свёрнутый из бересты кулёчек.

Девушка едва губы обмочила.

Конь пил с опаской – зубы ломило.

А Геласий остатки из бадьи одним махом вылил в своё разгоряченное нутро и принялся бегать по кругу, утаптывать снег.

Тоже вкруговую топориком прошёлся.

Навалил молодняка.

Наказал Степаниде, чтобы шкурами застилала лежанку, а сам убрёл в лес за сухостоем.

Девушка одна осталась в морозном вечере среди первобытных лесов. На двадцать вёрст кругом ни души. А совсем не страшно.

Сердце наполнилось молодой бабьей отвагой.

В цветастых пимах, обвязанная платком под мышками глядела на первую звезду.

Вдруг посыпалась сверху какая-то пыль. Чуть глаза не запорошила шелуха от еловых зёрнышек.

Над ней клёст с красной грудью висел на ветке книзу головой словно заморский попка.

Клёст – клюв внахлест – расковыривал шишку.

И гнездо этой дивной птицы разглядела Степанида между веток.

И писк птенцов расслышала.

В январские морозы зачата жизнь и выкормлены детки.

21

Сухостоины Геласий уложил на снегу квадратом, словно окладные брёвна для строения. Натолкал под них сена и хвороста.

Зажёг.

В венце огня под шкурами близко легли они друг к другу.

И наутро Степанида проснулась уже просто Стешей.

...Дальше ехали с тайной в душе. С изумлением.

По-новому учились глядеть друг на друга. И разговор не сразу склеили. Будто только что познакомились.

Теперь Геласий часто подсаживался на край кошевки. Притискивал меховой куль. Находил в нём губами холодный нос, алую щеку.

Шептал какие-то глупости, указывая на белок, – гляди, мол, тоже парами скачут.

А вон на полянке зайцы дерутся. Жениховствуют и они.

Кажется, смерть кругом белая, ледяная. А кому надо, тем хватает собственного утробного тепла для жизни и её восполнения...

Потом, проезжая здесь на ярмарку, Геласий всякий раз вспоминал ту крещенскую ночь на обочине дороги, треск огня, жар плодородного единения.

И думалось ему всякий раз: «Здесь Матрёна зачата».

22

Печь – и гревь, и свет, и железу плавь.

С утра старшуха Енька-Енех кланялась печи.

Вечером Геласий окунул своё лицо в её жгучий свет.

Покупной железный прут в руках поворачивал на огне, напивал малиновым.

Слышно было, как от пережогу пищали угли на поду.

В «виднети», за спиной деловитого хозяина, стучала набилка в кроснах матери. Урчало веретено привозной молодайки.

Наученная покойной свекровью, Енька пела-поскуливала:

Девушка полотно ткала,
Красная широко брала.
На полотне – золоты кружки,
На беличке – сизы голуби.

И вдруг сорвалась на угорское, будто перетолмачила:

Ен фехер – кек аламб.
Ен алакси – кек ниул.

А потом опять по-русски:

Тут Иван ступил в избу —
Девушка испужалася.
Золоты кружки на тканье смешались,
Сизы голуби разлетелися,
Заюшки разбежались.

...Ой, девушка, не скупись,
За песенку расплатись...
(Ой, лень, нем шугори,
Утан елек физетэ.)

Енька-Енех хохотнула на последней строчке, ногой притопнула. Подзадорила Стешу. Не зацепило пришлую. Продолжилось деловитое жужжанье деревянного волчка в её руке.

Так бы Еньке одной и веселить вечерю, кабы Геласий вдруг примерочно не тюкнул молотком по наковальне – доспело ли железо дляковки?

Дзинь!

И ударил молоток дробью, в пляс пошёл, бубенчиками рассыпался по углам избы.

Частя, слился молотковый стук в струнные звуки.

Обрушился громом одиночного битья.

В этой звени неслышно щёлкнуло о стену отброшенное веретено Стеши, и прялка её пала на пол.



Полетели к дверям лапоточки. В одних липтах девушка выскользнула к припечью.

Под кузнечные перезвоны Геласия всплеснула руками, выгнулась, тряхнула плечами. Да так, что локти стояли на месте, и муха бы с них не слетела.

У Еньки от дикого изумления перед выходкой молодой челнок в стане нырнул поперек бёрда и притужальник дал трещину.

Раскалённый прут у Геласия начал остывать – молоток теперь вхолостую лупил.

Кузнец играл для Стеши.

А она едва не до матицы подпрыгивала и юбку раскидывала вширь по бокам. Трескуче была над головой в ладоши.

Наконец упала на колени и опять нашла локтями в воздухе какую-то ею одной знакомую прочную опору, мелкую зыбь пустила в плечи и грудь.

Тут мать к уху сына сунулась, горячо шепнула:

– Лася! Да не дерома⁷⁹ ли она у тебя?

А он всё сильнее выхаживал молотком по наковальне.

И в этих стуках в пятидесятилетней Еньке недолго природа боролась с приличием.

С притужальником в руке, словно с саблей, тоже вынесло жёнку из-за кросен.

Однако этим острым орудием она так и не взмахнула ни разу.

Плясала с каменным лицом одними ногами, с места не сходя.

По-угорски отчебучивала.

Потому, наверное, на Сулгаре и кликали её Топтуньей.

23

И от неё, от Еньки-Енех, разнеслось по Сулгару, по угорским и славянским домам, бабым языком утвердилось прозвище новоявленной девки – Цыганка.

В тысячелетнем немотном Сулгаре вдруг взрывно взошла третья, яркая, очевидная чуждость. После чего славяне с угорцами как бы роднее стали, ближе.

Своими, «нашими» посчитались.

Обнаружился вдруг у них повышенный интерес к свадьбе Геласия-полукровки с невнятной деромой Степанидой...

Любопытным не было конца.

Одной кудели «нать». Другая хозяйину подарочек на Крещение несёт – вышитую утирку.

Третья с поклоном к Еньке – соли бы шепотку.

А сами глаз не сводили со Стеши.

Множились слухи о невиданном приданом новоявленной невесты. Тут уж тётя Мария постаралась.

В ожидании свадьбы вдруг душевно сошлась невеста с этой тетей Марией, дочкой первопроходца Синца.

Разница в возрасте не стала помехой для женской дружбы.

Каждый день можно было теперь видеть их склонёнными над сундуком Стеши.

Особенно восхищалась тётка гранёным пузырьком с жасминовым маслом. И бусами «на любовь» из шариков шерсти, пропитанных отжимками розы.

Нюхала, уносила с собой тётка Мария эти дивные запахи и отдаривала потом за них Стешу костяным оберегом, тканым пояском, диким мёдом.

Тайком Стеша показала новоявленной подружке дырочки в мочках своих ушей, пронизанных шёлковой ниткой для сохранения отверстия до венчания, будто девства.

И серебряные серёжки-крючочки с капельками.

Только и было у женщин в голове – свадьба!

Одной свадьба предстояла. Другой – вспоминалась.

⁷⁹ Цыганка.

– Меня-то, Стешенька, брали по-угорскому обычаю, – слышался в запечье шёпот тётки. – У них ведь жениха не подпускают к невесте, будто врага-душегубца. Мой Габор рвётся к дверям, а ему петлю на шею. Заарканили и к телеге привязали. Вот как у них. И выкуп за него давай! Ладно. Отпустили. А тут ещё, на-ко вам, трубку кожаную жених должен просунуть в дом невесты. В дверную щель. Эка срамота! Габор с этой трубкой ломится, а бабы не пускают. Габор-то нашёлся. Подпрыгнул да в дымник и протолкнул эту трубку охальную. Я поймала – свадьба началась. Ой, девка! А они ведь и сырое мясо едят. Жениху – ешь язык олений. А невесте – сердце. Кусай, рви зубами тёплое мясо. Кровь-то по рукам течёт. Господи! Шаман камлал. В бубен бил. Окурили меня до беспамятства. Это у них так положено, чтобы невеста сознание потеряла. Тогда её заворачивают в шкуры и везут в дом суженого. Там меня отпоили какими-то травами. Очнулась. Но всё равно вся свадьба моя прошла как в дурмане...

24

Три слюдяных оконца в избе, и в каждом свету – по мастеру.

Низко склонилась над шитьём Стеша: бисеринку бы в щель не упустить. Тоже не без излишнего усердия и Енька-мать вышивала сыну красную жениховскую рубаху.

Геласий обложился красками в глиняных плошках. Писал свадебные иконы.

Самого бесстрастного Христа замыслил он для себя. Так и назывался образ по канону – «Спас мокрая борода». В церкви Важского городка рассмотрел Геласий этот лик.

Косицами свисают у Христа и волосы, и борода, и усы. Видать, только что из Иордана. Охолонувший. Взглядом не прожигает, а весь в себе: новизну какую-то в душе почуял – обдумывает.

Похож на богомаза, светлой памяти, дядю Прова.

Мальчишкой видал однажды Геласий, как наставник вот так же выходил из Суланды с мокрой бородой.

Волосик к волосику, будто только что расчесаны. Словно сохой по пашенке найдено.

И теперь Геласий вторил эту бороду тонкими беличьими кисточкам по левкасу: полоска коричь – полоска чернь.

(Соответствующие пигменты наготовлены были у него из коры можжевельника и сажи.)

Летом бы Геласий развёл пингаму и в яичном желтке. Но среди зимы где найдёшь дикую кладку?

Клёст – один на сто вёрст.⁸⁰

25

А для невесты Геласий решил на венчание изобразить Божью Матерь Нечаянную Радость. Высмотрел в той же церкви Важского городка. Там на иконе выписан был вид горницы, посреди которой мужик удивляется нечаянному видению образа Богородицы.

Тут надо добавить, что Геласия-то в Важском городке настигла ещё и своя, личная, нечаянная радость. Это когда он вслед за Мишкой – «не беру лишка» вошёл в его дом, разогнулся за порогом низкой двери и увидел Стешу.

Плат у девушки до бровей. А глаза словно насквозь солнцем сзади просвечены. И оттуда брызжет на мужика его единственным и неповторимым, отнюдь не каноническим, счастьем.

⁸⁰ Куры здесь в те времена считались за невидаль. Появляться стали куры в хозяйстве северных крестьян только в XVII веке по мере уменьшения дикой птицы в лесах. Били уток, гусей, тетеревов, ставили силки на куропаток. В неурожайные, голодные годы куры, даже те, что были, переставали нестись, вымирали. На Пасху яичка было не достать. Лепили из глины. Обжигали и раскрашивали.

Именно такой, на Степаниду похожей, и выливалась теперь из-под его кисти на донышко осинового ковчежца Богородица Нечаянная Радость.

26

Началось с кузнечного плясового перезвона в избе жениха, а разнеслось по заснеженному Сулгару благовестом с переборами, красным звоном с храмовой колокольни.

Корячились на обледенелых балках звонницы дьякон Пекка-выкрест и старая девка Водла.

Простодушный дьякон лупил чугунным пестиком в било и дергал язык клепала. А снаружи по тевтонцу дзинькала обломком подковы блаженная Водла.

Радость обоих разлеталась в свадебном разгонном звоне. Веселой вестью проникала в избышки древнего поселения.

Нынче свадьба у Геласия Синцова!

И званы многие...

27

Вылетели от церкви с колокольцами.

В санях за кучера тётя Мария – невестина подружка.

На запятках женихов дружка – брат Иван.

Кажется, и у коня праздник.

Боком рысит, с вывертом.

Будто знает про обычай – на свадьбе первую рюмку коню на голову с присловьем:

Вчера ел сено, глядел на солому,

Сегодня – вино пей, ешь пироги!

В дедушку Ивана выдался тёзка-внук.

С рождения тешился ядрёным словцом. Теперь кричал в прибежку за санями:

Наш князь противу неба на земле.

Отсель на третьей версте.

В чистом поле на заборе

... свой точит.

Княгиню учить хочет.

А утром-то ещё этот охальник, войдя в дом Геласия огорошил всех вот как:

Я из города Ростова,

Роду непростого.

Куричкин зятёк,

Петухов браток.

Звать меня Сисой.

Приехал за...

28

Званные собирались на пир.

Из Сулгара гурьбой брели по снегу дьякон Пекка, сын покойного шамана Ерегеба, дурковатый пятидесятилетний мужик в лаптях на босу ногу – крестился восторженно.

Его брат, нищий Гонта, в льняной рубахе на голом теле, подбитой мехом цеплялся к мягкому месту старой девки Водлы, выросшей на церковном прикорме и в приبلудстве с отцом Петром.

В Кремлихе пристали к ним сын мытника Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой. Оба в опашнях и пимах.

Староста Ошурок, из московских стрельцов, с серьгой в ухе, с двумя статными, драчливыми сыновьями и с непокорной, крикливой дочкой в цветастой кухлянке.

За ними порхал поршнями по снегу бледнолицый литвин Питолинский со своей угорской женой Илкой в долгополой малице.

Ближние соседи Геласия – окно в окно за рекой – Брат Ананий и дядя Габор в высоких грешневиках на головах выбирались из своих нор на звук свадебных криков и свистов. Присоединялись к толпищу.

Всё это воинство, восхищённое солнечным январским деньком, одетое в кожи и шкуры, в лён и веретьё, в мех и бересту, валило к застолью.

Навстречу им обратно в Сулгар за попом пролетел на обалделом от браги Серке дружка жениха брат Иван, орущий:

– Первую чарку погоняле. Вторую – коню! Пади ниц! Запор-рю!..

Конь скалил зубы и словно бы тоже хрипел:

– Загрыз-зу!

29

Невесту ввели за тесовую перегородку. Доски в ней были подструганы, подогнаны женихом так, что ни щёлочка от земляного пола и до потолочин. А дверь за перегородку вела – на кованых петлях, не сравнить с кожаными навесами. Ни скрипу в ней, ни шороху.

Никакого раздражения свекрови.

Принудили там за перегородкой невесту (рукой в перстнях) пробовать на мягкость ложе из льняного обмолота.

Тоже не скрипнуло.

Скалились в нечистых улыбках, любовались смятением молодой. И потом шумно рассаживались.

В красном углу на лавках за прочным столом – избранные.

В продление стола наскоро тёсанные плахи на козлах. На них – середняки, под задами у которых зыбкие жерди.

Остальные толклись вдоль стен, сидели на полу под порогом.

И блюда с кушаньями так же постепенно, починно были расставлены.

Изошрённые – в ярком свете под божницей.

Простые – в тених припечья.

Скудные – в подпорожной тьме.

Тарель с перепечей (просо с лосиными потрохами) громоздилась перед женихом и невестой. На деревянной лодье лоснилась запечённая лосятина, жареным духом била в нос попу и старшим мужикам.

В ржаной коре остывала щука.

А подпорожному люду был выставлен сундучок. На нём теснились три каравая хлеба и полнёхонек чуманчик соли.

Для голи – до отвала соли – слаще заморского алкана в братине у первых людей.

Хотя они ещё и браги зачерпнут деревянными кружками из лохани.

Да и не раз.

30

Свеча перед молодыми, будто обрубок суковатой палки.

Сам жених не один день фитиль кунал в расплавленный воск и намораживал слой за слоем.

Теперь сияние огня от свечи продлевалось в лучах кики на голове невесты (в хворостинках наподобие веера, обтянутых белым шелком).

Огонь свечи бликовал в бородах, политых вином.

На алых губах баб.

Трещали кости выворачиваемых суставов в мясной туше.

На пол сплёвывались рыбы хребтины.

Человечьи тела размягчались в сытости, сливались в одно целое. Общим жаром стало распирать избу.

Словно бы под давлением этой силы распахнулась дверь в сени и оттуда хлынул морозный пар для охлаждения.

Созрела в этом парнике первая песня.

Заворожённо глядя на венчальную свечу, тетя Мария исторгла сипловатым горлом:

Во тереме ясна свеченька горит

Воску ярого.

Утаивает.

У Геласия матушка выпрашивает:

«Где ты был-побыл?»

«Был у тёщеньки, у ласковья».

«Чем ты тёщенька дарила-отдаливала?»

«Дарила меня тёщенька своим чадом милым,

Свет Степанидой Михайловной...»

Потом тётке Марии кроме свежего воздуха ещё и свобода потребовалась.

Гору верхней одежды перекидала баба с полу на печь и пошла выбивать лаптями подпорожную:

Раздайся, народ, расшатися, народ!

Дивна красота идёт. Её девица несёт.

На своих на резвых ножках,

На сафьяновых сапожках!

Пока тётка Мария во весь размах выказывала новгородскую натуру, новоявленная угорская свекровка Енька-Енех молча столбиком вокруг неё топталась с прижатыми ручками.

Дождалась очереди и запела с носовым призывком:

Бан ердё жарва-арани саганз.

Гонта кабаль ин:

«Ал! Гилкос! Тузель!..
...Эгеж вэндег таж,
Паранч танколож!»⁸¹

От звуков родного языка воспрянула языческая половина свадьбы. Выскочили плясать безбородые со своими фележками (женщинами). Брюхо вперёд, а к хребту будто колья привязаны. Руки угорцев болтались плетьюми.

Вся пляска – в ногах. В сотрясении земли.

Прискочат да пуше прежнего задробят.

Понемногу дикость обуяла собравшихся.

Кричали, лезли в драку, валились под столы.

Брат Иван по старшинству и по древним порядкам возжелал поиметь невесту прежде младшего. Пытался сорвать с неё одежды. А когда Геласий укрыл Стешу за перегородкой, ломился в дверь.

Орал похабы.

Прежде чем его вытолкали вон из избы, успел-таки кинуть в сторону молодых драный лапоть.

Это уже по-старинному обычаю он им счастья желал.

31

Хозяйка порожнюю тарель об пол хрясь! Сигнал всем понятный. Свадьбе конец.

Званные с пиру отправились домой, кто хоть и неверным ходом, да своим. Кто ползком. А кто на загорбке соседа или у жены подмышкой.

Весь день был ясным, солнечным, а тут на ночь снегом посыпало сверху.

– Значит, быть богатыми молодым, – толковали бабы.

...За реку на гору ползли к своим избам брат Ананий и дядя Габор.

Батогом гнали впереди буйного Ивана.

В Сулгар брели дьякон Пекка и его брат, нищий Фекел. Теперь у него уже не хватало сил, чтобы щипать старую девку Водлу.

Заодно с ними до Кремлихи шатался от сугроба до сугроба сын мытника Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой для подмоги.

Старосту Ошурка с серьгой в ухе волокли с обеих сторон сыновья.

Литвин Питолинский с женой Илкой шли в обнимку и вскрикивали.

Короче всех дорога оказалась у дьякона Петра.

Геласий с матерью в своей избе затолкали батюшку, словно куль, на полати.

32

И тихо стало в деревне тишиной снегопадной. Хотя снег бывает и сыпучий. Слышно, как шуршит по насту.

Изморось – та висит в воздухе и склеивает ресницы.

Бывает, так густо, плотно валит с неба, – дышать трудно.

Или с ветром снег умывает. Или завивает позёмкой.

Что там за погода стояла в те январские дни 1526 года на Пуе – никто никогда в точности теперь не скажет.

⁸¹ В лесу олень – золотые рога. Гонта крикнул ему: «Стой. Убью. Застрелю». «Ты меня, Гонта, не бей. Я к тебе на свадьбу приду. Всех гостей разбоду. Заставлю в пляс идти».

Подённых заметок о состоянии окружающей природы даже летописцы не вели. Лучше и не искать.

Про свадьбу Геласия Синцова, конечно, тоже можно только догадываться.

А чем же в эти январские деньки заняты были светочи-то наши исторические, каждый шаг-вдох которых обязаны были фиксировать платные писцы?

Листаю архивные записки.

Глазам не верю!

21.01.1526 г.

Едва ли что не день в день со свадьбой Геласия Синцова произошло в Московском кремле, в соборе Спаса-на-бору венчание великого князя Василия с Еленой Глинской!

И тоже татарско-сербского корня оказалась невеста у Рюриковича.

Тоже – дерома-«цыганка».

Вот как иногда сливаются (во времени) истории, писанные лемехом – и мечом.

Химические законы, конечно, позволяют перековывать меч на орало и обратно.

Но в химии человеческой они, эти истории, несовместны.

А если и сходятся, то по касательной, с отскоком:

Война – Мир.

Жизнь – Смерть...

33

Продолжим параллели.

Геласий – Василий.

Мужик – Царь...

Геласий с утра после своей свадьбы разгребал снег за порогом – кремлёвский молодожён Василий почивал до обеда.

Геласий раздувал горн на дворе и ковал пробойник – Великий князь четыре дня гулял на свадьбе.

Геласий калил концы железных полос и склепывал их в кольцо – Великий князь неделю убил на соколиной охоте.

Геласий железные кольца разогревал и вкладывал в них деревянные колёса. Металл, охлаждаясь, сжимал ободья намертво – Великий князь писал указ, чтобы его рынды (охранники) носили за поясом серебряные топорики.

Геласий подать деньгами заплатил – Великий князь принял на кормление при дворе немецких лекарей Льва и Теофила.

Геласий первую на Пуе пилу вырубил из стальной полосы – Великий князь велел забить двести лебедей на пир в честь посланников из Дании.

Геласий расписал дверь в перегородке избы – Великий князь одарил поместьями верных бояр.

Геласий тараканов морозом морил, неделю жил у брата Анания – Великий князь отослал «поминки» крымскому хану, отступное, контрибуцию.

Геласий навоз на поля вывозил – Великий князь послал воевод в покорённую Карелу и Удмуртию.

Геласий сеял коноплю и чесал пеньковую куделю – Великий князь заключил в темницу рязанскую знать.

У Геласия родилась девка Матрёна – У Великого князя парень Иван...

Часть IV

Око

Матрёна (Чумовая) (1526–1593)

Сила женщины

1

Пыль на дороге клубилась, завивалась в нитку. Клубок вёл за собой черноглазую девочку в холстинной рубахе и с кузовком за спиной.

Впереди в просветах еловых лап показался скос сизой чашуйчатой деревенской крыши.

Девочка постучалась в первую избу. Никто не ответил. Она вошла. В струе солнечного света из волокового оконца вповалку лежали мёртвые тела баб и детей. Крохотные ступни торчали из гноища, будто грибы поганки.

Впору бы девочке кинуться назад, но она даже не испугалась. Концом платка прикрыла лицо, отступила через порог и пошла дальше.

В проулке валялся мёртвый мужик. Девочка долго смотрела на него, будто ждала: вот проснётся и откроет глаза.

Звякнула конская сбруя.

Она повернулась на этот звук и увидела лошадь на несжатом поле.

Лошадь таскала волокушу с покойниками.

Жадно пожирала колосья.

Ночью падёт от колик...

2

Кузовок опять, будто живой, стал вихляться за спиной, биться, подталкивать. Дорога тянулась по высокому берегу Пуи. С обрыва далеко было видеть леса, забрызганные алым и бурым, как фартук мясника.

На таких открытых местах сентябрьское солнце пекло. А когда дорога спускалась в овраг, во мрак вековых елей, веяло на путницу могильным холодком.

Только к вечеру снова стали попадаться по краям дороги вырубки и расчистки, янтарные ржанные полянки.

Навстречу ехал мужик.

Телега у него была на дубовой оси с деревянными чеками.

Колёса прихрамывали.

– Ты куда, девка?

– В Долматово. Ночевать.

– Там навек заночуешь.

– Пошто так, дяденька?

– Язва там.

– Везде-то она, проклятушая!

– А ты откуда, чья будешь? Как звать?
– Матрёна.
– А кличут?
– Ласьковы мы.
– Куда идешь, Матрёна-дерома?
– Где смерти нет.
– Ну, значит, мы с тобой, девка, понюхаем табаку носового, помянем Макара плясового, трёх Матрён да Луку с Петром...
Мужик отпил браги из носка кожаного меха.
– Живой смерти не ищет!
Утёрся.
– Умереть когда-нибудь – это, девка, ничего. А сегодня – страшно. Садись. Поехали туда, где смерти нет.
– Не сяду, дяденька.
– Девка ты ярая. Личиком что пшеничная корочка. А глупая. Ведь смерть не мамка. Разговаривать не станет.
– Я пешим за вами.
– По колени ноги оттопаешь. Да и ночь скоро – потеряешься.
Уговорил.
Матрёна умостила на задках спиной по ходу.
– Ну, душу твою довезу, за телеса не ручаюсь.
И хлопнул вожжами по лошадиным бокам.
Ноги девочки волочились по земле.
Лапти заборанивали следы копыт. Словно бы сами бежали ноги, просились в обратный путь.
Домой...

*Моровая язва. Так называлась бубонная чума в те времена.
Начиная с XV века чумные эпидемии сотрясали Россию.
В Никоновской летописи читаем о море «по всей земли Русской» 1423 году. И симптомы указываются – кровохаркание и припухание желёз.
Из летописей также можно узнать, что в том же году псковский князь Федор, из боязни заболеть, бежал в Москву.
Бегство не спасло. Умер в стольном граде.
С 1427 по 1442 год не упоминается об эпидемиях.
Но в 1443 году в Пскове опять чума. Затем затишье.
А в 1455 году снова говорится про «мор железною» теперь уже и в Новгороде. Заметим, с вектором движения на северо-восток, в вазжские и двинские земли.
(Мор начался в Опочском конце Новгорода, от некого Федорка, приехавшего из Юрьева, говорится в летописи.)
Следующее описание повальной болезни помечено 1478 годом. Эпидемия охватила татарское войско под Алексиным. «Бог, милуя род христианский, посла смертоносную язву на бусурман, начаши понапрасну умирати мнози в полцех их...».
В 1507 году чума опять свирепствовала в Новгороде и держалась, по летописям, три года. Погибло 15 396 человек.
В интересующие нас времена, в 1538 году, в Пскове только одна «скудельница» (обширная, глубокая могила) приняла 11 500 зачумлённых.*

3

Звался возница Прозором.

Истинно имя было дано «от взора и естества» младенца при появлении на свет Божий.

Видать, пучеглазеньким и родился. Потом и вовсе зраки навыворот вышли, словно у коня.

Всю дорогу был Прозор говорлив, но чем дальше, тем более подозрительно для Матрёны – как-то и не рьяно, и не пьяно.

Для ночёвки сушняк собирал, ссекал искры в горсть, хлопотал с ужином, а голова всё на сторону.

Взглядом шарил вокруг – и каждый раз мимо Матрёны.

Или вдруг истаурится, будто что-то вспоминает.

Она уж заподумывала, не умом ли он тронутый от горя. Было отчего. Схоронил долма-товский подьячий Прозор всю семью.



Вернулась, а Прозор уже оглоблю на дугу поставил и укрыл веретём.

Лица не видать в темноте. Слышно, как отхлебнул браги из меха. Кликнул Матрёну к себе под бок.

– Замёрзнешь!

– Тепло мне.

– К утру проймёт.

– Я тут у огня.

– Али меня опасаешься?

– Нет, ничего.

– Не бойся. В дороге и отец – товарищ.

– Спасибо, дяденька.

– Ну, лезь под опашень. А я под кожухом, отдельно.

– Меня и под приволокой не знобит...

5

Под утро, когда лес подрезало инеем, Матрёна не выдержала и юркнула в меховое укрытие.

Согрелась, уснула.

А проснулась от того, что на ней мужик лежал. Крепким дегтярным духом шибало в нос. Кислая борода лезла в рот. Щекам было щекотно, а тело разрывалось.

Прозор шептал горячей скороговоркой:

– Успевай, девка. Везде мор. Кто знает, живы ли будем завтра.

– Не надо бы мне, дяденька.

– Надо, надо! Не маленькая. Не я, так кто другой найдётся. А я тебя, слышь, живы будем – под венец поведу. Девка ты ягодка. Веком таких не видывал...

– Не надо бы, дяденька.

– Надо, надо. Смерти наперекор. Она людей морит, а мы с тобой обратным порядком...

Дальше Матрёна поехала, сидя на передке рядом с Прозором. Тут было повыше, и лапоточки девочки не цеплялись за колдобины, не пылили.

6

А всего месяц назад, на Илью-пророка, не на двуколке тряслась Матрёна, а покоилась в расписной долгуше с поворотной осью в передке.

И ось была кованая, и шкворень в её середине. И колёса-долгуши насчитывали по шестнадцать спиц каждое. Ободья на трубицах и сами шины – стальные. Хоть до Москвы езжай – не размочалются.

И не в сторону этой самой Москвы лежал путь Матрёны, а в супротивную, в милый Важский городок.

На Ильинское торжище.

В «мамин домик».

И не пьяный мужик правил повозкой, а родной батюшка. Да двое младших братьев шалили на тканой попоне за спиной Матрёны. И матушка, Степанида, пыталась их уговорить.

Да ещё следом за нарядной долгушей старый Серко волок телегу с возом крашенины на продажу. Правил Гонта-закуп.

Матрёна сидела в возке нарядная, в лёгкой сорочке с костяными пуговками. На голове втугую – белый платок.

В подоле меж ног – куколки. Набитая зёрнами Крупеничка. Соломенная Кострома. А на ладони – Пеленашка.

Когда поезд спустился к перебору, к каменистой быстрине Пуи, Матрёна сгребла куколок в охапку и прижала к груди. Шептала, уговаривала не бояться.

7

Сначала гулко, подводно хрустел галечник под копытами Воронухи, молодой, усердной кобылки.

Затем грозно рычала река под жерновами стальных колёс. Облитые ободья сверкали на солнце серебром.

Возле избы дяди Анания остановились и высадились. Мать с отцом толкали сзади. Воронуха мордой едва землю не рыла. Одним махом вынесла на гору.

Отсюда хорошо было видно Матрёне родную деревню за рекой.

В прямой жаре августа, покрытые зыбью марева, стояли избы на правом берегу Пуи – старая, ставленная ещё топором первопришельца Ивана, прадеда Матрёны. Другая, крепкая, но уже потерявшая за тридцать лет смоляной, золотистый блеск изба её отца Геласия, срубленная ещё его отцом, Никифором.

И чуть в отдалении жёлтый, сочный квадрат нового пятистенника батюшкиной затеи.

Не видать уже было в усадьбе Домны Петровны – глиняной бабы для плавки кричного железа. Теперь, знала Матрёна, весь металл (топоры, косы, оси, ободья) отец покупал на ярмарке у мужиков из Великого Устюга.

А на месте плавильни громоздился амбар-красильня.

Сейчас, летом, ворота были нараспах, и виднелись внутренности цеха: кирпичная печь и громадная бочка-смолёнка (пузо) в сто двадцать ведер.

Железная труба заклёпанным концом была замурована в печь, а открытым врезана в бочку.

Такой красильни не водилось и в Важском городке. Вся волость знала к ней дорогу. И отец давно уже не сеял лён, брал готовым полотном – один аршин за три крашеного.

Или пряжей, куделей.

И за полгода – к зимним и летним торжищам – набиралось у него до 200 локтей.⁸²

8

В свои сорок семь лет, на самом подъёме жизни, «тятюшка» оставался так же чист лицом и степен, как и в начале многолетнего льняного упряга, когда по этой дороге бабка Евфимья увела его в люди, и потом он по этой дороге в ученье бегал к иконнику Прову.

Возжался отец с боку долгуши в белой рубахе до колен и в лаптях – сапоги пришивные с голенищем в рюмку лежали под боком у Матрёны готовые на выход в торговые ряды Важского городка.

С другой стороны повозки шла мама Стеша.

В сравнении с бледноватым тятей, наоборот, плясуха, как её кликали в Сулгаре, будто смородинным соком налилась за время супружества.

И лицом, и всем телом словно подкопtilась у печи.

⁸² На рынке в те годы 1 аршин (локоть) холста стоил 3 копейки. Для сравнения: 1 пуд железа – 45 копеек.

И если на отце и детях оболочка была небесная, ромашковая, васильковая, то в одежде матушки – в двух рубахах разной длины, в поневе, в шёлковом повое на скрученных косах, в сборчатых рукавах – всё было терпко и густо.

Шёлк на голове мамы Стеши цвета татарника – фиолетовый, нагрудник крашен живучкой – лиловый.

Одна рубаха сиреневая в тон болотной фиалки. Другая чёрная с золотой набивкой по подолу.

А на синем переднике пылали алые маки.

Все эти льняные, налитанные соками трав рубахи, порты, платки, вся сбруя лошадиная, плетённая из пеньки и резанная из кожи, все повозки, выструганные из дерева, шерсть на двух лошадях – чёрная и серая, – всё это двигалась среди тех же самых трав и деревьев, только стоячих, среди шерсти зарывшихся в норы лис и спящих кабанов.

Всё было в поезде цельно, едино, слитно, чувствовала Матрёна.

Только движением и отличалось от окружающего мира да ещё подвластностью отцу с матерью, души которых тоже, впрочем, были наполнены теплом и благом этого истомного августовского полдня.

Как бы теперь сказали: всё находилось в высочайшей гармонии с созданием Божьим.

9

А в те времена и так бы ещё сказали: Геласий шагал по земле, а Бог – по облакам.

И осмелились бы ещё подпустить:

– Ходил, ходил Бог по облакам да, старый, и оборвался!..

Ну, а что такое сорвавшийся со своих высот Бог?

Перевёртыш – сатана.

А сорвавшаяся Богородица – ведьма.

Тенью гармонии – хаосом накрывался мир после таких вселенских срывов.

За созиданием следовало разрушение.

Здоровье заканчивалось болезнью.

На самом пике счастья, блаженства вдруг обрушивалась дорога впереди.

Или плетью вселенской вздыбливался смерч перед человеком.

Или просто сосало сердце от предчувствия великого Хаоса.

Чумной хаос принял образ дядьки Черномора и тётки Куги.

Черномор.

Чёрно – Мор, с крыльями.

Летает над миром.

Куга – рысью ночной пластается. Чёрной кошкой скользит по земле.

10

...Началось сверху.

Матрёна почувствовала, как застоявшийся парной воздух колыхнулся от какого-то далёкого, едва уловимого удара, не громче копытного.

Солнце, гревшее спину, вдруг одновременно стало светить ей в глаза, отражаясь от плотной туманности в небе.

В этой высотной белёсой мути быстро распустилась горсть синьки и запахло льдом.

Обуял страх не только Матрёну.

Отец яростно нахлёстывал Воронуху концами вожжей. У Гонты кнут пошёл в ход.

Тягостной иноходью караван приближался к церкви на Погосте.

Спасенья чаяли под навесом храма, а оттуда в лоб ударило колокольным звоном.
Двенадцать раз перебором по зычному билу и сиплому тевтонцу.
Мёртвому на помин!
– Два счастья нам сразу на дорогу. И покойник, и дождичек, – бодрился отец.
Завели возы под навес.
Укрыли кожами.
Под первыми каплями гурьбой вломились в церковь.

11

В полутьме храма служил священник Парамон – Пекка из угорского рода Браго.
Матрёна всегда побаивалась его. Жесткие волосы дьякона ниспадали куполом, как очёсанный стожок. Брови были белесые, невидимые. А на лице проступали все кости.
Казалось, даже слышала Матрёна, как похрустывало и пощёлкивало в челюстях отца Парамона, когда он выговаривал многократно:
– Господи, помилуй!..
Оказалось, попало семейство на «воспоминания о сущих zde от язвы усопших», на Великую панихиду по царице Елене Глинской.
После службы, выйдя на паперть, недолго и неусердно погоревали. Повздыхали и стали разбирать вожжи. Сильнее бы тронула их весть о смерти какой-нибудь бабы из соседней деревни.
А царица что? Подати ей платил отец исправно. Она не чинила преград ему ни в работе, ни в торговле. Под ружьё не ставила.
Над душой не стояла.
Поехали дальше по склизкой дороге.
Приговаривали: кто намочил, тот и высушит.⁸³

12

В жаркие дни грозы коротки.
Но в начале августа поднебесный холодок, бывает, и сутки придавливает.
А то вдруг дохнёт сверху осенью, да и вовсе не отпустит.
Так и случилось.
За мороком, после ливня, потянулись грязноватые облака, и закат выдался бурым.
Вброд переехали Паденьгу, ночевали в плотном ельнике, «где Матрёна была зачата».
А утром опять – дождь и ветер.
Лапти будто из глины вылеплены. Мокрые рогожи на плечах как рыба чешуя.
Всё наперекор замыслу и поперёк пути.
Из последних сил глухой ночью переправились через Вагу, одолели береговую кручу.
Стали у запертых ворот Важского городка.
Батюшка Геласий Никифорович был человек в округе знатный, тороватый – стража не кобенилась.
Счастливо уснули в сухом домике, родном для матушки.
И с рассветом отец подался на торжище.
Обедать приходил домой, помнилось Матрёне, ещё собранный, сосредоточенный на делах, а к ужину явился разбитым.

⁸³ Елена Глинская скончалась от чумы в 1538 году.

Даже не похвалился купленным тарантасом с коробухой на кожаных ремнях, как люлька.
Спал разметавшись, в одних подштанниках.

Пылал жаром.

К рассвету принялся кашлять и сплёвывать гноистой слизью.

– Это нищий болезни ищет, а к богатому она сама идёт, – шептала матушка.

*Чумой заражались от укуса блохи. Болезнь проявлялась через
нескольких часов.*

*Внезапно поднималась температура до 40 градусов, начинались
сильные головные боли и головокружение. Тошнота и рвота, бессонница и
галлюцинации.*

*На месте укуса образовывалось пятнышко красного цвета, которое
превращалось в пузырь с кровянистым гноем.*

*Пузырёк лопался, разрастался до язвы. Воспалялись лимфатические
узлы, ближайšie к месту проникновения чумных микробов, и образовывались
припухлости – бубоны.*

*Подступала пневмония, человек кашлял кровью и задыхался. Высыпали
многочисленные кровоизлияния на коже.*

*Поражался кишечник. В конце концов появлялись чёрные гниющие язвы
вокруг шеи.*

Петля затягивалась...

13

Торговать оставили Гонту.

В новенький тарантас уложили беспамятного отца.

На облучок уселась мать.

Матрёна следом, управляла долгушей с детьми.

Торопились – убегали.

Искали спасения в родных Синцовских пределах.

Не успели.

Помер, затих тятя в лесу на полпути.

И захоронили его в суете, проездом, на Погосте.

Наскоро отпели, не по чину.

Для долгих соборований у супруги не оставалось сил.

Сама едва стояла на ногах.

Померла на другой день.

Следом быстро отмучились младшие дети.

Копал скудельницу за деревней дядя Ананий.

Потом и его в эту яму сволокли.

Через месяц вымерла вся деревня.

Осталась одна Матрёна.

Дня не вынесла в одиночестве.

Кузовок за спину и скорым ходом – куда глаза глядят.

14

...Идёт мужик горбатый,

Гребёт землю лопатой.

Бьёт землю в грудь с маху,
А крови как не бываху.

Чем мужик проворней, шустрее,
Тем его лопата вострее.

Но этот мужик с лопатой
Никогда не станет богатым.

Не получит ни зерна, ни приварка,
А лишь поминальную чарку.

Ходи, ходи, лопата
По земле от рассвета и до заката.

Пеки пироги из дернины,
Посыпай песочек на домовины.

...Кому песня поётся,
Тому сбудется,
Исполнится, —
Не минется!
Аминь...

15

У Прозора мех с брагой былжал под боком. Только руку протяни – соска тут как тут.
Бахвалился он перед Матрёной всю дорогу, геройствовал. Но как только узрел впереди
избы Игны, то не за хмельным потянулся, а за кувшином с дёгтем.

Щепку окунул и ну брызгать на Матрёну. Она закрывалась ладонями, а он говорил:
– От язвы это верное спасенье. Была бы бочка, так я бы тебя с головой кунул.

Перед самым въездом в деревню едкой смоляной вываркой Прозор и кобылку вокруг
обмазал.

– Девка, а девка? Ты заговаривать умеешь? – спросил Матрёну.

– Не учила меня мама.

– Ну-ка, слезай тогда. Слышишь? Никак угорцы камлают. К шаманам под благословение
пойдём. Это дело верное. Безбородые знают толк. Спокон века тут живут.

На горе завивался дым от двух обширных костров, мужского и женского. Жгли верес.
Кидали в огонь пучки сухой крапивы и синего зверобоя – иссопа.

Стояли в очередь для окуривания.

Каждый разувался и по три раза заносил над огнём сначала правую ногу, потом левую.

Опускали голову в дым. Задирали подола малиц, ровдуг, рубах и кружились в едких
облаках.

– Я к мужикам. А ты, Матрёна, иди к бабам. Делай как они.

16

Для баб и шаманила баба. С изумлением и страхом глядела Матрёна на её квадратную шапочку с кистями, на личину из бересты с прорезями для глаз.

На шаманихе колыхалась широченная ягуша из рядна. В руках вместо бубна было по кукле – катье. Одна кукла – дочка Омоля из нижнего царства, набитая камушками. Другая из верхнего царства бога Ен с соломой внутри – лёгонькая.

Можжевеловый дым скоро одурманил Матрёну. Она отупела от пронзительного визга шаманки. Последнее, что увидела, – взлёт куколки Ен.

Идолка кувыркалась в белёсом осеннем небе с розовой натрусской заката. Замедленно, в угасающем сознании Матрёны, будто палый лист, снижалась куколка на виду у дальних заречных лесов, песчаных островов Ваги.

А того, как шаманка кинула чёрную дочку Омоля в огонь, Матрёне видеть уже не довелось. Девочка повалилась бесчувственная.

Открыла глаза – ей в лицо тычут чем-то холодным. Тут бы Матрёне впору и опять в обморок унырнуть: собачьей мордой возили по её лицу, мёртвой отрубленной головой.

Она отбивалась, а угорские бабы добротворно наседали, гвалтили.

17

Поехали дальше, вон из чумной Игны, туда, «где смерти нет». Да недалеко уехали. В конце деревни поперёк хода лежала дюжина срубленных деревьев. Вал непреодолимый.

И с крыльца ближайшей избы стрелец грозил бердышом.

Кричал служивый, мол, дальше путь закрыт.

А если ночевать негде, так из какой избы покойников перетаскаете в скудельницу, в той и живите.

Они поворотили.

– Ну, девка, выбирай хоромы!

Перед ними проплывали незатейливые избёнки и землянки.

Вожжи натянул Прозор у постоянного двора, судя по воротам с замком.

В избе дворника (хозяина постоянного двора) догнивало всё его семейство. Вонь спёртая – нидохнуть, будто под воду нырнул.

Ближнего к порогу покойника Прозор забагрил за одежду и поволоку.

Матрёне тоже дело потребовалось.

– Давайте, что ли, лепёшек я вам напеку, дяденька.

– Лепёшки пеки, а меня дяденькой не смей кликать. Какой я тебе дяденька? Я хозяин твой. Мужик. Зови Прозор Петрович.

– Вы, Прозор Петрович, только огонёк мне разожгите.

И пока «дяденька» тягал в яму за деревней тела гиблых хозяев, Матрёна в очажке, на железной лопате, настряпала хрустящих колобков.

Прежде чем сесть во дворе за ужин, бывший подьячий затопил печь в опустошённой избе.

А дымник заткнул.

И дверь затворил.

Чтобы в жильё угаром нечисть заморить.

18

На жердь у коновязи с коваными кольцами Прозор накидал сукна и веретья. Под образовавшийся кров натолкал свежего сена – покойный хозяин заготовил корму в загад, на долгую зимовку, земля ему пухом! И было объявлено Матрёне, что тут, в шалаше, жить им до тех пор, пока в избе вся зараза не заколеет.

А в самом верху, в небе, малиново светил летний остаточный жар.

Ниже, в холодке, краски сгущались.

Цвета настаивались.

Осадок по горизонту разливался лимонно-жёлтый – к заморозку.

– Лепёхи знатные! – молвил Прозор и полез на сено.

В раскрыве полога увидел: Матрёна остаток своего хлеба подаёт кобыле.

Услышал:

– Как звать-то её, Прозор Петрович?

– Улита, – ответил он неожиданно осипшим голосом.

Он увидел, как в свете заката ощеренная морда кобылы потянулась к хлебному куску, мясистая губа схлопнула гостинец и лошадиная голова закачалась благодарно.

И эта тонкая девичья «рука кормящая» в тревожном свете костра, в сиротском одиночестве, в обвале чёрного моря вдруг странным образом смутила Прозора.

Опять его раздвоенные глаза беспокойно забегали по углам палатки. И стало потряхивать мужика, будто в ознобе.

И подумалось ему: «Хорошая баба может подняться».

19

...Хотя тем временем невидимая человеческому глазу возносилась из-за лесов рваным облаком дикая бабища Куга – самодива с распущенными волосами и с красной трепещущей холстиной в руке.

Над всеми бабами возносилась – хорошими и дурными, над всеми мужиками – дельными и шалопутными, над всеми их безгрешными детьми.

Ударит, сука, оземь козым копытом, махнёт окровавленной холстиной в одну сторону – улица мёртвых лежит.

Махнёт в другую – переулочек...

20

– Сказки на ночь тебе бабка сказывала? – игриво спросил Прозор, когда Матрёна влезла к нему под опашень из волчьих шкур.

– Сказывала.

– Теперь я у тебя за бабку. Слушай... Возвращался, как есть, один мужик домой после долгой отлучки. Просился ночевать. Ответили ему: заходи, коли смерти не боишься.

Зашёл.

А в избе-то, девка, все навзрыд ревут.

Оказалось, в деревне этой смерть по ночам ходит. В какую избу ни заглянет – наутро, как есть, кладут всех жильцов в гробы да и везут на погост.

Нынче очередь этой семье.

Ну, легли хозяева спать. А мужик-то, слышь, глаз не сомкнул!

И вот видит: в самую полночь отворилось окно. Показалась ведьма. Вся, подлюка, в чёрном и плат ниже глаз.

Сунула руку в окошко и хотела уж было мёртвой водой кропить.

А мужик-то не будь плох, извернулся, махнул топором, отсёк ведьме мизинец и спрятал в заглазник.

Попутру проснулись хозяева, смотрят – все до единого живы-здоровы. Радуются.

– А где же она, смерть?

– Пойдёмте, – говорит мужик, – я вам вашу смерть, как есть, покажу.

Идут по домам. Всех на улицу кличут. На обозрение.

У дьячковой избы что-то не так. Мужик спрашивает:

– Все ли у вас на виду?

– Нет, родимый! – отвечает дьячок. – Одна дочка больная, на печи лежит.

Мужик выволок девку с печи за волосы, показал людям её руку без пальца. А потом и отрубленный палец в доказательство... Ну, ведьму, как есть, утопили.

Мужика кормили и поили в этой деревне три дня...

Тихо стало под суконным навесом. Страшно.

А Прозор вдруг вскинулся дуриком над Матрёной да как зарычит:

– Показывай пальчики! Показывай мизинчики!..

Игрун на мужика напал.

Затормошил Прозор девчонку.

Защекотал.

Зацеловал.

21

Проснулись от стука в ворота и крика стражника:

– Ложись с курами – вставай с петухами! Живы ли?

– Жизнь на нитке, а думаем о прибытке, – отозвался Прозор из укрытия.

– Держи прибыль!

Над забором на пике поднялся кусок конины, рывком снялся и упал на землю во дворе.

– Слушай наказ, – кричал стражник. – От избы чтобы никуда ни ногой. Ослушника заколю.

– Вишь! Во все колокола ударил! И на задворки за вересом нельзя? Окуривать чем? Тоже через забор кидать стенешь?

– В лес ходи. А на улице увижу – зарублю!

– Воин! Сидит на печи да воет!

– Я тебе! Мало жала – так будет ещё и деревом.

Перепалка закончилась. Первым на карачках задом выполз из-под навеса Прозор. Обчистил конину от мусора. Отдал Матрёне.

– Тебе надолго хватит. А я уезжаю. Живи одна!

Матрёна обречённо поникла.

– Что в землю глядишь? Чему не рада? Вон у тебя какое богатство остаётся. Пятистенок. По углам поскребёшь – золотишко найдёшь. Хозяин не бедный был. Амбар полон зерна. Богатейкой станешь.

Во время этой речи Прозор испытующе глядел на Матрёну. Ждал, вот заревёт, на шею кинется.

Только и сказала Матрёна:

– Тогда прощайте, Прозор Петрович.

«Экая гордячка», – подумал мужик.

И опять переломилась прямизна взгляда у него, беспокойно забегали глаза, да всё мимо девки, тычками по сторонам. Язвительный прищур наполнился слезой. И он заговорил неровным голосом:

– Ты, это... дурёха, и вправду, что ли, поверила, будто я тебя навек одну оставляю?

– В вашей ведь воле, Прозор Петрович.

– Да ты бы пропала без меня!

– Судьба, знать, Прозор Петрович.

Он понял, не пронять эту девку ни смехом, ни страхом. И заговорил серьёзно.

– За приданым я наладился, во как! Сказывай, где что лежит в отцовом дому.

Она будто только того и ждала.

– Соль у тятеньки в тёплом месте, в запечье. Мука в клети. На полатах холстина. Медные енды в шомуше.

– А бражка-то, бражка где у него настаивалась?

– В подполе много и оцетного вина, и осмерьного, и творёного. Какое в кубышках, какое в склянницах.

– Ну, выходит, пир у нас с тобой прогремит на весь мир. Гости бы только не перемерли до тех пор. Конец речам! Оставайся с Богом.

Каурую Улиту вывел Прозор в поводу задками и уехал охлюпкой.

Матрёна как стояла, так и не обернулась на прощание. Поважнее имелась нужда.

Пала на колени перед очажком. Дунула, подняла тучу пепла. Глаза запорошило. Кашель стал душить.

А всё-таки достигла звёздочек в глуби.

Вспыхнули на них берестяные кожурки. Сушняк принялся. Верес затрещал. Здоровым дымом окутало становище.

22

Трухлявая жердина концом на огне стала для Матрёны время отмерять. Увидит она из дальнего угла двора – тускнеет очаг, – прибежит и подтолкнёт жердь на аршин. Потом опять. И так будет до возвращения Прозора с огнивом.

Владения оказались обширны.

Не считая избы в два жила: для хозяев и для постояльцев – с длинным столом и полатами в два ряда; имелась ещё баня.

Колодец с журавлём без бадьи.

Туда для начала и направила свои стопы Матрёна. Глянула в жерло. Вместо собственного отражения увидела комок шкур. То ли собака утопла, то ли овца.

Ни помыться, ни попить.

Река – вон она, видна через щель в заборе. Но вдруг стрелец с секирой нагрянет?

А хотя бы даже если и свободен был путь – в чём воды принесёшь?

А вот в чём – в бурдюке!

Шибануло в нос Матрёны из соска меха винной, тошнотворной кислятиной. Противно, а лучше не найти.

По следу уехавшего Прозора она спустилась в овраг к ручью. Уж было окунула горлышко в воду, да не понравилось ей, – могильник близко.

Опять приникла к щели в заборе.

Река Вага тут текла в три русла, хоть и широкая, но островистая. С песка на песок можно перепрыгнуть, и так от берега до берега.

Не страшная река. Только вот уж очень низко текла. Должно, спуск крутенок.

Матрёна отворила ворота и выглянула.

Черета изб убегала за поворот. Даже засеки было не видать, тем более жилища, в котором стражник на постое.

Матрёна с мехом в руке кинулась через улицу и без раздумий спрыгнула с кручи под уклон.

Съехала в воду. Дно жидкое, ноги засосало. А вода едва сочилась через трубку. Долго ждать. Как бы совсем не увязнуть.

Во дворе конец жерди на костре истаивает и продвинуть некому. Промедлишь – огонь потух...

Тонкой струёй сочится вода в ёмкость. А впереди ещё подъём по крутой осыпи с тяжёлым бурдюком.

Захвачена была девка битвой. С полными лаптями глины отчаянной зверушкой вскарабкалась наверх и юркнула в ворота.

Успела к огню.

Попила. Умылась. Утёрлась подолом.

В телеге у Прозора нашла серп. Накромсала мяса и разложила на углях...

Теперь вознамерилась она обыск устроить по всему владению.

Побрызгала на себя дёгтем из кувшина.

И в клеть проникла решительно через назёмные ворота.

Вот так клеть!словно светёлка. И потолок, и пол – тёсанные.

Слюда в оконце!

Матрёна вела рукой по кадкам, мешкам на подвесках, по коробам на полках и напевала:

Садил мужик черёмушку,
Садил, поливал:
«Расти, расти, черёмушка,
Не тонка, не высока,
Цвети, цвети, черёмушка,
Как белая заря.
Созрей, моя черёмушка,
Как чёрная грязь.
Незрелую черёмушку
Нельзя срывать.
Молоденькая девушка,
Нельзя её так брать...»

На душе девичье, а в уме бабье. И глаз – востёр.

Отметила Матрёна первые надобности для жизни. Горшочек с заплесневелой сметаной. Это на закваску сгодится.

Дёжа, полная ячменного зерна, – вот тебе и посудина для замеса. И разные горшки.

К мясу да в горшке каши наварить!

А соли-то тятенькиной у неё в кузовке полон туес.

23

Родная деревня Матрёны стояла в яме, а эта Игна высоко на горе.

В Синцовской на небо смотрела она как со дна чаши. И ветер где-то высоко над головой. Здесь же давило изо всей шири окоёма, ветер бил в лицо.

Волнами валило последнее тепло с юга.

Бессонные ночи изнурили Матрёну. Обилие смертей оглушило, притупило страх.

Наевшись каши, уснула девка у костра под попоной.

И приснилась ей ярмарка. Будто папенька в белой рубахе и с длинной седой бородой подвёл её к лавке персиянина. Разные колечки, ожерелья, бусы сияли там, как звёзды в небе.

Выбрал батюшка для дочки золотое колечко из Лиможа с голубой эмалью в выемке.

Стал примерять.

На какой пальчик ни наденет – всё мало. Подошел черёд мизинчику. А его-то, мизинчика, и нету!

Понудивлялся тятенька и, делать нечего, купил Матрёне кольцо височное о семи лучей...

Матрёна проснулась в ужасе. Глянула на мизинчик... Слава Богу, целёхонек!

24

Из-за забора доносились колёсные скрипы.

Вот бы это Прозор Петрович вернулся!

Матрёна вскочила на ноги, прильнула к щели.

Две бабы тащили телегу с мертвецами.

Свешивались на задках голые покойницкие ноги в гноищах, словно обмазанные грязью.

Только скрылась из виду погребальная колесница, как с другой стороны послышались удары бича и человеческие вопли.

Парами потянулись мимо Матрёниного укрытия мужики в одних портках. А шедший сбоку, словно пастух, охаживал стадо плетью.

На костлявых телах оставались синие рубцы и кровавые зарубки.

Боязливых же, и неверных
И чародеев языческих,
И всех лжецов – участь в озере,
Горящем огнём и серою!
Пади ниц передо Мной!..

Лысый пастырь с обожжённой, клочковатой бородой воздел кнутовище над головой. Шествующие как по команде распластались на лужайке у речного обрыва и раскинули руки крестом.

Я Господь Бог твой,
Бог ревнитель,
Наказующий детей
За вину отцов
До третьего и четвёртого рода!
...И всех ненавидящих Меня!

Хлестался теперь каждый лежачий персонально. Прицельно. И видимо, действие подходило к финалу. Кто получал свой удар, – поднимался на ноги и шёл дальше.

Бабы, возвращаясь от скудельницы с порожней телегой, бежали вдогонку за бичующимися, промокали тряпицами кровь на их телах.

Тряпицы прикладывали к губам, словно причащались живой кровью Христа⁸⁴.

⁸⁴ Флагелланты – так назывались секты бичующихся в Европе.

Матрёну стошнило в отаву.

Обессиленная, разживила она огонь в очаге. Забралась под волчью полость.

Чуяла – смерть мимо прошла, и накал сопротивления ослабевал. Дрожью пронизывало.

Защитные удары сердца делались всё слабее, реже.

Заснула в упадке.

...В сентябре сплющивается на закате радужный разлив, выдавливаются тёплые тона.

Сжимается лето до ядовитой зелени и бирюзы.

Как зеленью и бирюзой в мае начинается, так в сентябре и заканчивается.

Зелень – и сочность, и мертвенность.

Звёздная чернь проистекает из ядовитой зелени...

Перебор копытный по холодной земле слышится в такие ночи за версту.

Вот из оврага донеслось:

– Матрёна! Отгадай! Из ушей дым, от земли пыль, из ноздрей пар.

Во мраке толкалось что-то неясное, слышалось хриплое животное дыхание. Измученная Улита с Прозором на хребте подковыляла к огню.

Прозор прыгнул на землю в доспехах из братин и кубков. В единой связке сверкали в свете костра и хорошо знакомые, родные Матрёне латунные тазики, миски, ступки с пестиками.

Пук железных иголок упал на её ладонь. И радость-то какая! Зеркальце в свинцовой оправе.

Махом сбросил Прозор с плеча весь этот груз. А перемёты с вином снял с кобылы весьма осторожно.

У забора в малиннике выкопал яму, на ощупь спрятал всё привезённое под землю.

Вслепую из лесного уёмища перетаскали они добро с воза. Тарантас закидали ветками. Вытащили чеки из осей. Перекатали колёса в дом. Торопились, как бы с рассветом стражник с Указом не застал.

Спали без задних ног.

Едва докричался до них стрелец на рассвете.

– Обжо! Обжо! – орал он на этот раз. – Часовню рубить! На оборону супротив язвы!

Прозор долго не отвечал.

– Живы? Нет? – взвопил стражник.

– Мёртвого разбудишь! – тихо отвечивал Прозор.

– Обжо! Часовню рубить!

– А что, пищальник, не Сам ли Господь тебе на ухо шепнул – мору конец? Вчера только пикой грозился – на улицу ни шагу?

– Часовню рубить! Грехи замаливать!

Прозор проворчал только для Матрёны:

– Я наперёд отмолился на всю жизнь. Лоб расшиб в Долматове, чтобы Господь свою суку Кугу унял. Да знать, она, блудня, не в его власти.

Ворчал, а на обжо пошёл.

– Мы, девка, попу окладной венец, а он нам – венчальный.

На Руси в те времена летописцы занимались в основном статистикой чумы.

Но в Европе, имеющей более долгий опыт эпидемий, накопился достаточный материал и для обобщений.

Католический священник Поль Морешон в своём трактате «О чуме» писал, что, как только закончились эпидемии первой волны, произошёл демографический взрыв.

Новые семьи оказывались необычайно плодовиты – в таких браках чаще, чем когда-либо, рождались двойни. И новые поколения людей были менее подвержены заболеванию чумой.

Пассионарный накал был настолько высок, что, несмотря на потери от чумы, Англия и Франция, например, почти 100 лет затем вели упорную войну.

26

Собраны были на угорском капище оставшиеся в живых мужики Игны. Да с ними – пришлый Прозор.

Человек десять.

Сидели на брёвнах.

Перед мужиками держал речь босоногий поп Иоанн в подряснике, скуластый, как монгол. Норовистый был поп, непредсказуемый.

Вот только что говорил про невероятные людские горести и плакал. А тут вдруг вместо слёз брызнула из него слюна – это отец Иоанн уже гневался на неотзывчивых.

Только что стоял понурый – и вдруг петухом начал наскакивать на паству, потрясая посохом над головой.

– Во смраде и скверне пребывать не позволю! Проклянута – и батогом вдобавок. Сатанинское отродье!..

Уронил плешивую голову на грудь.

Сопит. И снова тихим голосом:

– Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви ты стаду твоему яже вещей истина...

Пропел чин тропаря Ильи на закладку храма. Посохом процарапал на земле крест, где должен быть престол, и убрёл, горестный, восвояси заждавшихся покойников убирать.

Принялись судить мужики, на какое строение хватит лесу. Сошлись на том, что выходит им рубить клецкий храм в две половинки – алтарную и моленную.

А кровля будет двускатная. И на первое время – без главки.

Моленную уговорились рубить в обло, алтарную – в лапу.

Достали «черту» – металлическую вилку для раскроя пазов. Шнурок саженный, в аршин, и вершковый.

Отвес – с камушком на конце.

И в первый же день уместили три венца.

В сердцах православных священников в те времена жили ещё отвага и беззаветность.

Они смело шли в гуцу народа утешать и призывать падавших к восстанию духа.

В 1540 году зачумлённые псковичи пригласили архиепископа Новгородского Василия приехать к ним для благословения.

Владыка побывал в моровом Пскове, отслужил несколько литургий, а на обратном пути в Новгород 3 июня умер от чумы.

Думается, он знал об опасности и сознательно шёл на риск.

Трагической смертью, но в другом роде, погиб и архиепископ Московский Амвросий. Его растерзала толпа в Донском монастыре за то, что

распорядился запечатать короб для приношений Боголюбской иконе Божией Матери, и саму икону убрать во избежание скопления народа и дальнейшего распространения эпидемии чумы...

Деяния знатных церковных иерархов отмечены в летописи.

Надо полагать, не меньше благородства и самопожертвования было явлено и неизвестными приходскими священниками...

27

К Покрову полон двор добра навозил Прозор в Игну из зачумлённой Синцовской.

По первопутку на санях доставил Матрёне корыто.

Жили они уже в предбаннике. Каменка калилась загодя, и с мороза в кипятке лопнуло привезённое «мамино» корыто.

Матрёна разревелась. Первую стирку затеяла. Что-то религиозное, обрядовое, древнее поднималось в молодой бабьей душе и вдруг оборвалось. А уж бельё в ручьевине два дня как замочено. Нельзя дальше откладывать, иначе остановится движение домашней жизни.

– Вы бы мне, Прозор Петрович, выкопали канавку в глине, – дрожащим голосом вымолвила Матрёна. – Я бы тогда и без корыта управлялась.

Не надо было мужику в те времена долго объяснять, зачем бабе понадобилась канава.

Заступ пошёл в ход. Дернину по краям выложил Прозор для водоотбоя, ещё глины сверху, чтобы выше было. И бельё, сорочки, порты, рубахи – Матрёна смаху да в эту грязь.

И пошла наша Матрёна на бельё танец танцевать, вытапывать из холстины сало, копать, вшей и блох...

Той порой Прозор на Воронухе в постромках приволок из лесу осиновый комель. И теслом принялся выбирать середину.

Матрёна плясала в канаве.

Прозор постукивал железом по дереву.

– В новом корыте на Масленицу мы с тобой, девка, с горы покатимся!

– Да уж, Прозор Петрович, мне с брюхом как раз в пору по сугробам кувыркаться.

– Не век сосун. Через год стригун. А там и в хомут пора.

– Вы, Прозор Петрович, так говорите, будто я жеребчика под сердцем ношу.

– У ребят, что у жеребят, по два зуба. Много их у меня было. Все на небо ускакали. Без них горе. А с ними, Матрёна, вдвое.

– У нас с вами, Прозор Петрович, хорошие детки будут.

– Дай Бог деток. Дай Бог путных...

Полоскала Матрёна в сизой воде Ваги, на коленях с заберега, с узкой ледяной полочки.

Во всю ширь – бело. Ивняк на другом берегу закуржевел. Только и цветного вокруг, что на голове у Матрёны красный плат, да руки алые. Ломит до локтей, а палыцы и вовсе словно не свои.

Пока тряпицу козонками не перетрёшь, глина из неё не выйдет.

Возила Матрёна холстину под водой – там как будто теплее. А стала выжимать, тут морозцем и охватило.

Скорее опять в ледяную воду на обогрев.

Большими рыбинами ходили в глубине полотнища. Словно вцеплялись в руку Матрёны и норовили на дно уволочь. Однако всё-таки одна за другой оказывались эти рыбины в корзине...

Черепашкой вползла тринадцатилетняя молодка на высокий берег. За верёвку втянула корзину с постирушками.

Теперь белое – по снегу раскидать. Тёмное – по жердям.

Застынет холст на морозе, станет гулким, как барабан.
Оттаает и досохнет в бане.
Вальком разгладится на лавке.
Отлежится в сундуке...

28

В даровой избе Матрёна с Прозором ещё не жили (ждали отца Иоанна для освящения), хотя Прозор внутрь заходил, что-то подтёсывал там, подколачивал.

Печь топил.

Прибрёл, наконец, священник, в лаптях, в рясе поверх полушубка, толстый, мордатый.

Потребовал углей в кадило.

Оловянный шар на грубой пеньковой верёвке превратился у него из кадила в жаровню, ибо вместо заморского ладана отец Иоанн натрусил на угли сосновой смолы – живицы.

«Воньё благоуханно» невидимыми лучами пронизало воздух в избе.

Звякнули бубенчики на кадиле.

Мрачным, недобрым голосом прочитал поп на пороге чин о храмине, спасаемой от злых духов.

Сотворил молитву «над пещию».

Грозно прикрикнул на Прозора:

– Воду неси. Кропить буду.

Пока Прозор бегал с горшком к ручью, отец Иоанн всплакнул над Матрёной, погоревал:

– Одна слеза катилась, другая воротилась. Волос у тебя кучерявый, как у блудниц на святых образах. Но коли ты, жёнка, натерпелась горя в молодые лета, так, видно, узнала, как по правде жить. Беда вымучит, беда и выучит... А где это твой мужик запропастился? Ехал Прозор за попом, да убился о пень лбом!..

Напевно, жалостливо сказывал, а увидав Прозора, заорал ему в лицо:

– Да воскреснет Бог и расточатся врата Его!

Не иначе, казалось, по уму попа, лукавый в самом Прозоре обитал и из него должен быть изгнан.

Пучком смоченных веток хлестнул отец Иоанн перед лицом Прозора будто розгами, с просвистом.

И вдруг опять мешком пал на лавку, тяжело задумался.

Бормочет:

– Страху много, а плакаться не о чем...

Матрёна кинулась вон, вернулась из бани с горшком сочива. А Прозор выставил перед попом вино в склянице.

И – чудо чудное для Игны – серебряный печенежский кубок с косым срезом.

– Вишь, разбойник! Нагрёб добра. Разживаешься на чужом-то несчастье, – опять взвился отец Иоанн.

Учтиво, без трепета, прямо глядя на попа своими бокастыми глазами, Прозор пояснил, что имущество это – из приданого. Законным обладателем коего является отец жены, то есть покойный тесть, достославный Геласий Никифорович Синцов!

И главное, выразил попу Прозор, никакого счастье не делается на чужом несчастье. А только на своём собственном.

– Речистый шиш! – воскликнул отец Иоанн и вскочил на ноги. – Много знай, да мало бай!

Покинул жилище с громом посоха и бубенцовым бряком кадила.

29

Кибитка мчалась вдоль пологого берега Ваги, в стороне от промоин крутояра.

Из-под кованых копыт в мягком мартовском снегу стреляло кубиками.

Гонец Ямского приказа сидел на облучке боком. Крылом поднятого воротника укрывался от встречного ветра и комьев снега⁸⁵

⁸⁵ Зипун лазоревый астрадинный; шапка вишнёвая с пухом; кушак кожаный с ножами; кафтан шубной полусуконный подлазоревый, – такова полагалась форма гонцу тех времён по документам Архива древних актов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.